

Николай Пернай

Лестница Иакова



Николай Пернай
Лестница Иакова

«Алисторус»

2020

УДК 82.929
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

Пернай Н. В.

Лестница Иакова / Н. В. Пернай — «Алисторус», 2020

ISBN 978-5-907363-02-1

Роман состоит из рассказов о событиях, полных драматизма, приключений и нелёгких преодолений в жизни мальчишки-пастушка, юноши – разнорабочего, грузчика, кочегара, каменщика, студента – и зрелого мужа – педагога, руководителя и ученого. Это роман о любви, объединяющей людей, о мужестве любящих. Когда ты совсем молодой, легко верится и в бессмертие души, и в собственные безграничные возможности. Если сегодня что-то не вытанцовывается – не беда: завтра получится. Ну, если не завтра, то – послезавтра. Рано или поздно – всё равно получится: ведь ты же упрямый и жилистый. Если любишь – можно всё преодолеть, считает автор. И впереди у тебя – жизнь. Вся твоя жизнь! Длинная и, должно быть, – интересная. А когда наступает вечер твоей жизни и круг твоих дел резко сужается, энергия любви, накопленная в молодые и зрелые годы, по-прежнему питает тебя и поддерживает твой слабеющий организм.

УДК 82.929
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-907363-02-1

© Пернай Н. В., 2020
© Алисторус, 2020

Содержание

| | |
|-------------------------------------|----|
| Книга первая | 5 |
| Квашеный арбуз | 5 |
| Выживает тот, кто настроился выжить | 11 |
| Письмо с фронта | 20 |
| Деревянные человечки | 24 |
| Флорика | 29 |
| Ворона | 35 |
| Тато | 39 |
| Школа | 46 |
| Чёрная стихия | 59 |
| За «дамским пальчиком» | 63 |
| Володя | 67 |
| Не надо было! | 72 |
| Сянька | 76 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 85 |

Николай Пернай Лестница Иакова

Книга первая За чёрным окном – море тюльпанов

И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот Ангелы Божии восходят и нисходят на ней.

Бытие 28:12

Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец!

Волшебник (из пьесы Е. Шварца «Обыкновенное чудо»)

Квашеный арбуз

21 марта 1944 года войска Второго Украинского фронта форсировали реку Днестр на участке протяженностью 175 км и окружили город Бельцы... На рассвете 26 марта части 252-й дивизии с северо-запада, 303-й с севера, 373-й дивизии и 57-й мотострелковой бригады с северо-востока ворвались на окраины Бельц...

<http://www.balti.md/index2>

1944

Бессарабия, Бельцы

В последние дни марта, когда шли бои за освобождение города от оккупантов – румын, итальянцев и немцев, – артиллерийские обстрелы и бомбежки не прекращались.

Мы с матерью, как и многие жители нашей магалы Берестечко, жили в небольшом саманном домике. Бомбы не падали на нас – кому мы были нужны? – но мы страшно боялись. Война научила бояться всего.

Артиллерия Красной Армии была днем и ночью, орудийный гул приближался, нарастал и, наконец, стал таким мощным, что земля постоянно вздрагивала, колыхались стены нашего домика, и с потолка начинало что-то сыпаться.

Особенно страшны были бомбежки. Когда приближалась армада советских бомбардировщиков, в небе стоял такой рев, что ничего, кроме него, не было слышно. Сотни самолетов летели так низко, что, казалось, они вот-вот начнут сбрасывать свой груз на наши головы. Грозные машины несколько раз бомбили что-то в районе станции Реуцел, северного и западного вокзалов города, не так уж далеко от нас, но чаще бомбы сбрасывались где-то дальше. Говорили – под Яссами.

Во время бомбежек мама падала на колени и торопливо молилась:

– Господи, Боже наш, не дай нам погибнуть! Господи, спаси и помилуй нас!

А я сразу залезал под кровать. Там в пыли, на земляном полу, было трудно дышать, но было как-то надежнее: разрывы бомб и снарядов мне по малолетству казались не такими страшными.

Так продолжалось несколько дней. Наконец, бомбежки прекратились, но залпы артиллерии и стрельба еще слышались в северной и центральной частях города.

И вот наступил день, когда не стало слышно ни разрывов бомб, ни выстрелов. Наступила тишина. Это было так необычно, что люди начали выходить из своих жилищ и громкими головами переговариваться между собой.

– Неужели ремуны ушли из города? – спрашивала мою мать соседка старая бабка Флячиха.

– Не знаю, – отвечала мать. Откуда она могла что-то знать: радио у нас не было, а последние дни она никуда не выходила из дома и ни с кем не общалась.

Так в тишине и спокойствии прошел день. Люди повеселели, на улице появились дети. Я тоже вышел погулять.

На следующий день мы проснулись в хорошем настроении. Мама ходила к колодцу и принесла два ведра воды, покормила поросенка, потом наложила в миску дробленой кукурузы и вышла во двор. Она приоткрыла дверку небольшого сарайчика, который прилегал к дому, и громко позвала:

– Цип, цип, цип!

Тут же из сарайчика стали выбегать и вылетать, обгоняя друг дружку, курочки. Их было с десяток – наше богатство, которое мы старались прятать, особенно, от жадных румынских глаз.

– Ципоньки мои милые! – приговаривала мама, рассыпая своим любимицам дробленку.

Первое дело в хозяйстве, даже таком маленьком, как наше, – было накормить и напоить животных. Иначе они покоя не дадут: некормленный поросенок будет орать так, будто его собираются резать, а куры – бросаться друг на друга.

Потом мама разожгла огонь в печке, быстро сварила в чугушке мамалыгу, несколько яиц – курочки неслись хорошо, – достала ведро с топленным салом, запасенным прошлой осенью, положила на сковородку две большие с верхом ложки смальца, разогрела его на плите, затем отрезала два кусочка овечьей брынзы и – выставила всё это богатство на стол.

Наша трапеза началась. Мама разрезала мамалыгу суровой ниткой на тонкие ломти, мы брали горячие ломти и макали в топленный смалец, затем, не спеша, поедали их вместе с брынзой и яйцами. Еда была неслыханно роскошной, такое мы редко себе позволяли. В то время ничего вкуснее я не ел.

Раздался осторожный стук в дверь – пришла соседка, тетя Маруся, Мусина мама.

– Сидай с нами, Маруся! – пригласила мама соседку.

Тетя Маруся, как порядочная дама, начала было отнекиваться, но совсем отказаться от угощения было, наверное, трудновато. Она села с нами за стол и, попробовав нашей еды, первым делом стала нахваливать хозяйку:

– Ну, Дуся, ни одна баба в нашей магале не умеет варить такую мамалыгу. Ох, и мамалычка! Прямо тает во рту.

Потом женщины стали говорить о своих делах, которые мне были не очень интересны, а я продолжал наслаждаться едой.

А когда всё на столе было съедено и запито колодезной водой, тетя Маруся вдруг и говорит:

– Слышала я, что сегодня в городе будет парад.

Городом у нас называли его центральную часть, а мы считали себя как бы пригородом.

– Что за парад? – насторожилась мама.

– В город войдут советские.

Всех русских в то время бессарабцы звали «советскими».

– Пусть входят, мне какое дело?

– Дуся, как ты не понимаешь. Это же конец оккупации. Это победа. Наши победили, понимаешь?

Мама молчала. Про «советских» мы знали очень мало. Меньше года мы прожили при советской власти, так и не поняв, хорошая она или плохая. А потом началась война, мужей позабирали в Красную Армию. В Бессарабию снова вернулись румыны, и пришли они не одни, а с немецкими и итальянскими солдатами. А вместе с ними появились и бывшие хозяева земли, домов, заводов. Объявился даже владелец нашего домика и потребовал с мамы плату за проживание. Мама – в слезы: денег нет. Помог свекор, дедушка Николай – с горем пополам рассчитались с румыном.

Теперь пришли «советские», но как они себя поведут, было неизвестно.

– Евдокия, – говорила тетя Маруся. – Советские – они же наши. Свои.

– Да, – проговорила мама, задумавшись. – Где-то наши мужья? Что с ними? От моего Васи никаких известий. Живой ли? Только во сне и вижу его.

– А ты верь, что он живой-здоровый, и раз пришли советские, то скоро придут и письма от наших солдатиков.

– Ты, правда, так думаешь?

– Конечно.

В сенях послышался шум, дверь отворилась, и в дом, наклонив из-за высокого роста голову под притолокой, вошел дедушка Николай, а за ним тихонько прошмыгнула тетя Сеня, его дочь. Они жили на соседней улице.

– Вы что расселись? – с порога зашумел дедушка. – Наши пришли! Наши! Русские вот-вот войдут в город. Добрые люди давно уже в центре.

Сам дедушка Николай, воевавший как солдат русской армии с японцами на Дальнем Востоке еще в 1905 году, всегда был за Россию.

Без всяких предисловий дедушка велел нам с мамой собираться.

– Пойдем, встретим наших, – понуждал он. И было видно, что для него это событие очень важное.

Через некоторое время мы всей семьей вышли на улицу.

Был теплый солнечный день. В садах начали проклеиваться бутончики яблонь и слив.

Мы шли налегке, и только у бабушки на плече висела холщовая торба, в которой было что-то увесистое.

Со всех сторон по одному, по двое или группами в ту же сторону, что и мы, шли люди.

Как мы ни спешили, к началу «парада» всё же опоздали. Головные части уже прошли, оставив после себя сизый туман солярочного дыма.

Наконец, пробиваясь сквозь густеющую толпу, мы добрались до места, которое считалось центром. По обе стороны от площади и центральной улицы лежали развалины, и лишь один одноэтажный дом уцелел, в нем находился продуктовый магазин. Здесь мы остановились. Из репродукторов доносилась громкая музыка, но брусчатая мостовая была пустынна.

Несколько минут спустя послышалось урчание двигателей, и из-за дальнего поворота показался танк. Потом – другой, третий... По мере приближения урчание превратилось в сплошной рев, который вместе с ужасающим лязгом гусениц заглушал все остальные звуки. Я никогда не видел танки вблизи. Теперь, когда они были совсем рядом, казалось, что громадные зеленые чудовища передвигаются по мостовой сами по себе, как одушевленные существа. В передних люках виднелись бледные лица танкистов в шлемах, которые казались неживыми, а из башен выглядывали стоящие по пояс командиры. Как им удавалось управляться с этими страшилищами, было непонятно.

Танков было штук двадцать. Потом пошли самоходные артиллерийские установки такого же устрашающего вида, с неправдоподобно толстыми стволами пушек. Вся эта лязгающая и ревущая техника, оставившая после себя облака смрадного дыма, вызывала благоговейный трепет с некоторой примесью ужаса.

Так проходил парад. Скорее, это был не парад с атрибутами праздничных приветствий и шествий под оркестр, а победное прохождение войск по улицам освобожденного города. Некое подобие триумфального марша.

Люди стояли по обеим сторонам улицы. Они молчали, отчужденно рассматривая проходящую технику с белыми цифрами на бортах. Было непривычно и страшновато.

Но вот снова послышалось несколько бравурных аккордов. На этот раз звуки исходили не из репродукторов. Толпу попросили расступиться, и в образовавшемся круге появился оркестр. Такие оркестры и раньше я не раз видел на молдавских свадьбах и храмовых праздниках: скрипач, худой седовласый старик с почерневшей от ветхости миниатюрной скрипкой, невысокий лысый дядечка с висевшим на шейном ремне струнным инструментом под названием цимбалы, старый усатый весельчак с сияющей на солнце трубой, толстяк-барабанщик с колотушкой в руке и огромным барабаном наперевес и потрясающей красоты женщина с ниспадающим водопадом черных кудрей, осторожно несущая на груди роскошные перламутровое чудо – аккордеон. Все, кроме аккордеонистки, были людьми довольно преклонного возраста.

Трубач с толстыми усами, увидев в толпе моего высокого дедушку, вдруг подошел к нам и, радостно протягивая свою черную крестьянскую ладонь, церемонно поздоровался:

– Буна зиуа, мош Николай! – Потом так же торжественно он отвесил поясной поклон женщинам: – С праздником!

– Здравствуй, мош Ион! – ответил дедушка так же церемонно, растянув в мягкой улыбке щёточку своих усов. – Доброго тебе здоровья, старый мой друг!

– Когда-то мы вместе играли на свадьбах, – пояснил дедушка. Позже я узнал, что в молодости он неплохо играл на скрипке.

Музыканты встали полукругом, скрипач взмахнул смычком, и над толпой полилась незнакомая величавая мелодия. По мере исполнения лица оркестрантов становились всё более сосредоточенными и просветленными, а музыка звучала торжественно и строго. Окончив игру, скрипач сказал, что сегодня впервые на земле освобожденной Бессарабии исполнялся государственный гимн Советского Союза. Зрители вежливо захлопали.

И вдруг без всякого перехода музыканты заиграли танец, который в наших местах знают все, даже малые дети. Это был зажигательный, огненный танец «Жок», от которого руки-ноги начинают двигаться сами по себе и сердце подпрыгивает в груди. Через пару мгновений на брусчатку вылетела дюжина танцоров в национальных молдавских костюмах: все – девушки, но половина была в юбках, украшенных цветными лентами, а другая половина, изображавшая юношей, – в широких шароварах и с заломленными кучмами на головах. Взявшись за руки, плясуньи образовали круг и закружились так лихо, так ладно, так радостно и задорно, что многие зрители стали подтанцовывать.

Сколько дней, недель и месяцев эти люди жили в полудрёме, спрятавшись в своих норах! И вот теперь такой подарок – эта светлая, такая любимая и родная мелодия, от которой отлетали прочь дурные мысли, оживали души, и весеннее солнце зайчиком заиграло в сотнях глаз.

*Милая моя родина! Как ласковы лучи солнца твоего! Как прекрасны песни и пляски твои!
Как нежны и желанны девы твои!*

И когда только девушки успели подготовить такой танец! Впрочем, у молдаванок музыка в крови, и танцу многие выучиваются с малых лет.

Артистам хлопали, обнимали их. У многих на глазах были слезы. Это были слезы неожиданной светлой радости.

Были и другие выступления. Пышная черноволосая красавица запела веселым дискантом:

– *Марица, Марица, тынере фетица! (Марица, Марица, юная девица!)*

Лица людей засветились улыбками.

Потом дородный дядька с висячими усами басом затянул:

– Дывлюсь я на нэбо, та й думку гадаю,
Чому я нэ сокил, чому нэ летаю?

Короткий концерт закончился, артисты пошли дальше и через несколько минут уже выступали перед другой группой людей. А мы стали ждать продолжения шествия Красной Армии.

И дождались.

Вдали появилась пара грузовиков, «студебекеров», за ней другая, третья, четвертая ... Целая колонна. Когда машины поравнялись с нами, выяснилось, что к каждой прицеплена пушка; значит, это были артиллерийские части. Солдаты-артиллеристы, сидевшие в кузовах машин, весело махали нам руками. Из толпы бросали солдатам яблоки, груши, орехи; какой-то мужчина подбежал к машине и протянул литровую бутылку с красным вином, которая тут же с благодарностью была принята.

– Да здравствует Красная Армия! Трэяскэ Армата Рошие! Ура! – гремело из репродуктора на русском и молдавском языках.

– Ура-а! – кричали артиллеристы.

– Ура-а! – подхватила толпа. Мы с дедушкой тоже кричали «Ура!». Наши женщины улыбались.

Потом пошла артиллерия на конной тяге. Это было еще интереснее: шестерки здоровенных битюгов тащили орудия большого калибра. Управляли лошадьми пожилые солдаты, сидя на высоком облучке. За пушками в пешем строю шли расчёты.

– Да здравствует Советская Молдавия! Трэяскэ Молдова Советикэ! Ура! – загремело опять радио.

– Ура-а! – кричали теперь все: и красноармейцы-пушкари, и мы, жители Молдавии, которой предстояло стать советской.

Были еще здравицы в честь дружбы молдавского и русского народов, в честь победы над фашистской Германией и боярской Румынией, в честь Сталина. Теперь, научившись, все дружно кричали «Ура!». Но вдруг откуда-то сверху, не иначе как с неба, начали сыпаться грецкие орехи. Они обильно падали и на горожан, и на красноармейцев, и на мостовую. Было очень забавно, когда мы, малышня (а детей на параде было много), бросились подбирать орехи. Солдаты смеялись: они шли, не останавливаясь.

Кто придумал этот номер с орехами, не знаю, но было здорово. Потом еще несколько раз чудеса с орехопадом повторялись, но загадка этого явления так и осталась для меня неразрешённой.

Наконец, пошла пехота. Именно по тому, как шли солдаты, сутулясь под тяжестью не очень тяжелых винтовок и тощих сидоров за спиной, как скупно улыбались измученными улыбками в ответ на наши приветствия, было видно, как они устали. Сильно устали. Очень сильно. И выглядели они не по-парадному: выцветшие гимнастерки, поверх которых были надеты скатки шинелей, на ногах редко у кого кирзовые сапоги, у большинства ботинки с обмотками. Лица, худые и почерневшие, цвета той земли, к которой они, наверное, прижимались, пробираясь с боями в наш город.

Пехота, главная боевая сила войны, шла нескончаемым потоком: взвод за взводом, рота за ротой, батальон за батальоном...

– Да здравствует Советский Союз! Трэяскэ Униуня Советикэ! – звучали призывы по радио.

– Ура-а! – кричали пехотинцы вместе с нами, бессарабцами, которые отныне тоже являлись частью народа единого Союза.

Красноармейцы продолжали шагать, и вид у них был совсем не триумфальный. Люди с каким-то напряженным вниманием вглядывались в лица воинов, словно надеясь увидеть своих близких. Возможно, многим казалось, что они узнают в них родных: сыновей, братьев, мужей.

Молодые женщины подбегали к солдатам и протягивали им фрукты, домашнее печенье, хлеб, сало, брынзу, бутылки с вином, банки с соленьями и прочей снедью. У кого что было, тем и делились.

Не слышно было песен в строю. Все устали.

Война уморила всех.

Дедушка Николай долго стоял на краю тротуара и тоже внимательно всматривался в лица красноармейцев. Я был рядом и слышал, как он тихо не то говорил, не то спрашивал кого-то:

– Где-то наш Вася? Живой ли?

Вася – сын дедушки. Мой отец.

Потом, заметив, что я смотрю на него, сказал:

– Твой отец такой же солдат. Где он сейчас, кто знает?

В это время подошел взвод, которым командовал совсем молодой рослый лейтенант. Чернявый, крепкого сложения, он, наверное, чем-то был похож на моего отца. Дедушка быстро снял с плеча торбу и достал из неё что-то завернутое в серую бумагу. Оказалось – это арбуз, небольшой, килограмма на два с немного сморщенной кожурой.

Какие могут быть арбузы в марте месяце? Оказалось, у дедушки – могут быть. Это был квашеный арбуз.

– Сынок, – протянул он арбуз офицеру. – Возьми. Я специально берег это к тому дню, когда придёте вы.

– Спасибо, отец! – Лейтенант принял арбуз и крепко обнял дедушку.

Солдаты шли и шли, и их шествие было нескончаемым. А дедушка всё стоял и стоял у обочины и всё махал проходящим поднятой рукой, и я видел на его усах повисшие капли слез.

Шествие продолжалось...

От Васи, точнее, моего отца Василия Николаевича, долго не было вестей.

Но он был жив.

Выживает тот, кто настроился выжить

1945

Советская Молдавия, Бельцы

Хотелось гулять, но мать не разрешала. Причина была простая: стояли сильные морозы, совсем не характерные для наших мест, а у меня не было ни зимней обуви, ни теплой одежды.

Гулять очень хотелось. В последние дни непрерывно шел снег. Белым пухом укрыло наш двор, шелковицу, соседние крыши, деревья, улицу. Мир за окном изменился, что-то там происходило необычное и, наверное, интересное и веселое. Это было как праздник. Праздник прихода настоящей зимы. Слышались разные голоса, среди них было много детских. А я сидел дома и был лишен всех этих радостей.

Наконец, мать раздобыла где-то пару яловых сапог. Сапоги были старые и окаменевшие от ветхости. Им было, наверное, лет сто, а, может, и больше. Возможно, в них хаживал на турок один из моих прадедушек в те времена, когда молдаванами правил славный господарь Штефан чел Маре. Мама долго разминала их, мазала салом, отбивала поленом, чистила сажей. Сапоги были громадные, размеров на пять больше того, что мне было нужно, с загнутыми по старинному носами, но выбирать не приходилось.

И вот мать начала обряжать меня для выхода на улицу. Из зимней одежды у меня было пальтишко, из которого я вырос еще год назад, да непомерно большая отцовская цигейковая шапка. На меня были надеты двое штанов, поверх рубашки мамин теплый платок, ноги вместо портянок замотали кусками тряпок и запихали в сапоги. А когда мать втиснула меня в пальтишко, негибающиеся руки стали торчать в стороны, как палки. Вот так я был разодет.

Я напялил на голову шапку и вышел на улицу.

Было пасмурно, немного ветрено и морозно, но мне после прокисшего домашнего тепла сначала показалось, что мороз небольшой. Снег был глубокий, и в своих востроносых сапожищах, как сказочный Иванушка-дурачок, я с трудом брел по целику, пока не вышел на дорогу, которая была немного наезжена телегами и санями. Воздух был колючий, но чистый, дышалось легко, и мне сразу стало радостно от того, что я очутился в этом светлом и чистом мире. Хотелось прибавить ходу, попрыгать, помчаться галопом, однако неудобная одежда и непомерная обувь сковывали движение. Но всё равно было хорошо.

На улице никого не было, и я побрел наугад, надеясь, что увижу кого-нибудь из сверстников.

Хорошо в такую погоду покататься с горы на санках, а по льду Реуцела – на коньках. У меня не было ни санок, ни коньков, но я надеялся, что на горке встречу с кем-нибудь из ребят, и меня прокатят. В конце магалы улица сворачивала к мосту и выходила к длинной и крутой горке, на которой копошилось несколько мальчишек с самодельными санками. Никого из них я не знал, поэтому сразу спустился к речке.

Там было веселее. Несколько ребят постарше были на коньках, они раскатывали по кругу, выписывая различные фигуры. Коньки у всех были, конечно, самодельные, сделанные из сосновых чурбаков с прибитыми снизу стальными прутками для улучшения езды. Среди катающихся были умельцы, которые могли выполнять такие фигуры как скольжение ласточкой или пистолетом на одном коньке, скольжение задним ходом и прочий высший пилотаж.

Были на катке и мои знакомые – братья Морару и Жорка Баранец. Для них, так же как для меня, коньки были недоступной роскошью, но они катались на своих ботинках. Катание заключалось в том, что нужно было хорошо разбежаться и, сильнее оттолкнувшись, скользить по льду.

Между пацанами шло соревнование: кто дальше проедет по льду. Те, кто поопытнее, удлиняли путь разбега, начиная с берега. Они докатывались почти до противоположного берега. Я пару раз пытался разбежаться, но мне это удавалось не очень хорошо: я спотыкался, падал, на меня наезжали другие и тоже падали. Были, правда, и удачные попытки: иногда мне тоже удавалось устоять на ногах и я несся по льду с огромной, как мне казалось, скоростью. Было, по крайней мере, весело...

Незаметно стемнело. На катке народу стало меньше, а потом и вовсе я оказался один. Я пару раз прокатился и хотел было тоже идти домой, но когда попытался подняться на горку, чтобы выйти на дорогу, ноги заскользили и я упал. Потом поднялся, опять попробовал идти, заскользил и опять упал. Я полежал немного, чтобы отдохнуть, но, когда попробовал встать, почему-то опять упал. Полежал ещё и с большим трудом встал. Ноги стали замерзать, потом холод стал проникать сквозь пальто, шапку.

Ноги почему-то держали плохо, к тому же я перестал их чувствовать. Теперь я просто стоял и не двигался...

Неизвестно, сколько бы я так простоял, если бы меня не нашла мать. Она схватила меня в охапку и бегом, напрягаясь из последних сил, понесла домой.

Дома она стащила злополучные сапоги, сняла многочисленные одёжки и начала растирать меня денатуратом и нутряным свиным салом – тем, что у нас было. Начали отходить от заморозки ноги и руки, я кричал от острой боли, но не кричал.

– Потерпи, потерпи, – приговаривала мама.

Потом она надела на меня сухую сорочку и штанишки, завернула в старый овечий кожух и положила на натопленную печь. Какое-то время мне удалось поспать, но к ночи начался сильный жар, всё время хотелось пить.

А наутро сильно заболело горло так, что я не мог ничего глотать, и кружилась голова. Жар не спадал. Мама пробовала поить меня кипяченым молоком с медом, который принесла тётя Сяня. Ничего не помогало. Вдобавок начали болеть суставы ног и рук. Так продолжалось весь следующий день и ночь.

На третье утро дедушка Николай запряг в сани своего старого мерина Каштака и поехал в город за фельдшером.

Приехал фельдшер, очень большой и очень толстый старый еврей в белом халате, с мясистым в красных прожилках носом и отвислой нижней челюстью с редкими железными зубами. Помыв руки над тазиком, он попросил у мамы ложку и, прижимая этой ложкой мой язык, стал осматривать горло.

– Гнойное воспаление миндалин. Ангина, – констатировал фельдшер. – Нужно хорошо прополоскать горло растворами марганцовки и календулы.

Потом он запихал в свои волосатые уши резиновые трубочки и блестящий металлический кружок, в котором трубочки сходились вместе, долго прикладывал к моей цыплячьей груди, время от времени хрипя и дыша на меня вонючим, прокуреным голосом: «Дыши!.. Не дыши!.. Дыши!» Потом обстукал сердце, лёгкие и, всё больше хмурясь, взял меня за руку и долго считал пульс.

– Ну, что? Что скажете, господин фершал? – волнуясь, стал спрашивать дедушка Николай.

– Не господин – товарищ! – поправил дедушку фельдшер. – Пока явных признаков пневмонии не нахожу, но лёгкие мне не нравятся. Есть воспаление. Сердце тоже работает почти с тройной нагрузкой. При ангине это бывает и это опасно. Могут быть осложнения и пороки сердца.

– Что делать? С ребенком что делать?

– Будем лечиться. Я выпишу вам рецепт. Вы должны заказать медикаменты в аптеке, выкупить их и давать мальчику через каждые четыре часа. Каждый порошок нужно запивать кипяченой водой...

Еще он говорил, как и чем полоскать горло.

Потом старик вынул из своего саквояжа лист бумаги и, примостившись у нашего шаткого стола, стал писать. Исписанный листок он отдал дедушке. Тот, щурясь от напряжения, попробовал было прочитать и, ничего не поняв, спросил:

– Вы тут что ли – по-румынски написали?

– Нет, все рецепты пишутся на латыни. Не волнуйтесь, в аптеке рецепты читать умеют. Они же объяснят, как употреблять медикаменты... А теперь мне нужно умыть руки.

Мать услужливо полила на руки фельдшера водой из кружки и подала ему свежий рушник. Он вытер руки, надел поверх халата длинное, такое же ветхое, как он сам, пальто, и, не прощаясь, пошел к выходу. Дедушка ушел с ним.

Мы остались с мамой. Появилась какая-то надежда, и вроде бы даже немного полегчало.

Приходили соседи: добродушная тетка Маруся с Мусей, крикливая бабка Флячиха, очень дряхлый и совсем глухой дедушка Иван. Потом пришла моя бабушка Маня. Каждый пытался меня утешить и каждый что-то с собой приносил: кто топленого молочка, кто – горячего борща, кто – сотового меда, а глухой дедушка передал маме несколько черных, как дёготь, маленьких лепёшек.

– Это пчелиный клей, – шепелявя беззубым ртом, кричал дедушка Иван. – Лепёшки из клея надо привязать на горло.

Муся стала кормить меня наваристым борщом, но я не мог глотать. И тогда моя мама забрала у неё миску и услала подальше, чтоб не заразилась.

На ночь мама снова сделала мне компресс на шею и прилепила лепешки деда Ивана. Полночи я проспал спокойно, но под утро снова поднялась температура и я стал задыхаться. Мама заставила меня полоскать горло сначала марганцовкой, потом настоем календулы. Из глотки пошли сгустки крови и гноя. Но дышать стало легче. Когда полоскание закончили, я совсем обессилел, и горло болело так, точно там всё было изрезано. Вдобавок сильно тошнило и болела голова. С этого времени и в течение следующих четырёх или пяти дней я не мог ничего есть, и начал катастрофически худеть.

К вечеру дедушка Николай, наконец, привез большое количество разных порошков. В те времена главным лечением ото всего были порошки. Дедушка долго объяснял маме, как надо их использовать. И мы приступили к лечению.

...Прошло несколько дней. Горло понемногу унималось, болело не так сильно. Но я весь горел огнем, особенно, ночью. Начали болеть колени, потом локти, потом плечи.

Кто-то сказал матери, что от суставных болей полезительны ванны из конского навоза. Мать быстро собралась и побежала к пивзаводу, где всегда было много подвод и лошадей. Через час она притащила полную корзину замёрзших конских катышков, растопила печь, вскипятила большой чугунок воды, нашла во дворе старый полубочёнок, промыла его и залила горячей водой конские катышки. Таким способом она приготовила баню. Дождавшись, чтобы раствор стал не слишком горячим и для верности попробовав температуру воды локтем, мать быстро раздела меня и по шею погрузила в полубочёнок. Острый конский запах перебивал все другие запахи, но я ощущал невыразимое блаженство и облегчение. Казалось, вот она – панацея, вот так и надо лечиться. Мать потом еще два раза купала меня в вонючей конской купели, у меня очистилось горло, лёгкие, стало легче дышать. Но какой-то бес сидел внутри меня и не отпуская.

Снова поднялась температура, все суставы воспалились, стали красными; распухли, и я не мог уже ни встать, ни сесть, ни, тем более, ходить. Тошнило, кружилась голова, и я всё чаще стал терять сознание.

Через неделю Павлик уже не мог встать с постели. Мама почти не спала, несмотря на то, что её часто сменяли то тётя Сеня, то баба Маня. Суставы у него распухли и болели так, что он стонал, почти не переставая. Но самое тяжкое началось после того, как у него от слабости и отсутствия питания начали атрофироваться мышцы. Это привело к тому, что сухожилия, как тугая резина, стянули ноги и руки больного, и он не мог их разогнуть. Теперь стали болеть и конечности, которые состояли из костей, обтянутых кожей. Болело всё, и больной всё чаще пребывал в бессознательном состоянии. Чтобы хоть немного облегчить страдания, тётя Сеня придумала для него колыбельку с простынкой, на которой положили Павлика (тем более, что сам он уменьшился до размеров почти грудного ребёнка и лежал всё время скрюченный). На простынке его легче было переворачивать. А он поминутно стонал и кричал: «Поверни! Поверни!!» Так было в течение второй недели его болезни.

Потом, когда периоды пребывания больного в бессознательном состоянии стали почти постоянными, всё чаще слышалось: «Поверни! Поверни, тебе говорю! Поверни, ё... твою мать!.. Не так, не так больно, манда собачья... Почему ты делаешь мне больно? Круща мэти!¹.. Поверни! Нет, не так! Ах, ты, пся крив²! Ты нарочно, бьёшь меня по ногам!.. Вот я скоро поднимусь и встану! Вот я встану и покажу вам, жандармы румынские, фашисты!..» И так далее и тому подобное. Весь этот специфический репертуар выливался на голову чаще всего бедной матери, которая тихо плакала и звала его: «Ну, встань, встань, родной мой!» Она почти не отлучалась теперь от своего сыночка, а он, не приходя в сознание, продолжал поливать её грубой мужицкой матерщиной.

Взрослые долго потом дивились, где примерный мальчик, «хлопчик с золотой головкой», как звал его отец, мог набраться таких забористых и поганых слов, причем на нескольких языках, включая молдавский, цыганский и иврит. Взрослые явно недооценивали интернациональный уровень уличных контактов юных сорванцов, которые ежедневно общались на множестве языков и наречий.

Так продолжалось несколько дней. Когда Павлик приходил в сознание, ему торопились засыпать в рот множество порошков и после этого начинали кормить. Больной начал понемногу есть жиденькие супчики и каши. Горло почти перестало болеть, температура спала, но больной продолжал лежать в позиции эмбриона, изнемогая от дергающих суставных болей. Павлик таял на глазах. Казалось, никакое лечение – не впрок.

И тогда дедушка Николай снова привез старого фельдшера. Мельком глянув на больного, тот сразу сказал:

– Немедленно – в больницу, – и тут же стал выписывать направление на стационарное лечение.

Родня в панике засуетилась. Все захлопотали, засобирались.

Появилась надежда.

Вечером, при приеме в городскую больницу, Павлика осмотрел дежурный врач, худощавый мужчина лет сорока с изможденным лицом, и велел положить мальчика в первую палату терапевтического отделения. Больной был признан очень «тяжелым» и матери было разрешено находиться при нем в качестве сиделки.

Утром во время обхода врачи собрались у постели больного. Их было трое. По сути, консилиум. Врачи внимательно осмотрели мальчика. Это были, как потом выяснилось, известные, ведущие врачи: доктор Кошелев, осанистый мужчина с черным ёжиком, выбивающимся из-под крахмальной белой шапочки, и суровым медальным профилем, и – доктор Юхим, рыхловатый очкарик с одутловатым багровым лицом, небрежно нахлобученным на лысую голову

¹ Молдавское ругательство.

² Польское ругательство.

белым колпаком и халатом, едва укрывающим его толстую фигуру. Третий, доктор Петряк, малозаметный худощавый пожилой мужчина, молча, не вмешиваясь, следил за действиями своих коллег. Потом они втроем о чем-то вполголоса совещались. Их язык был недоступен для окружающих, но мама всё же уловила: «ревматизм» – слово, которое звучало чаще других.

Доктор Петряк, который оказался лечащим врачом Павлика, продиктовал медсестре все необходимые назначения. Быстро и оперативно установили капельницы с лекарствами.

Начался новый этап – уколы и капельницы.

В течение нескольких дней Павлика искололи до того, что живого места не осталось.

Доктора каждое утро начинали обход палаты с постели Павлика. Петряк озабоченно говорил о дефиците синовиальной жидкости в суставах, тахикардии, миокардите и прогрессирующей дистрофии. Юхим молчал, а Кошелев хмуро кивал своим ёжиком.

Положение больного оставалось стабильно тяжелым.

Однажды дедушка Николай напросился на прием к доктору Юхиму, который был зав-отделением, и спросил, что ещё можно сделать? «Мы делаем всё возможное», – сказал Юхим. «Может, нужны какие-то особые лекарства?» – спросил дедушка. «Буду откровенным: нужны пенициллин, бициллин и еще кое-что, то есть то, чего нет, – с горечью констатировал старый доктор. – Это дефицит, которого нет и не будет. Сейчас время военное, медикаментов для гражданских больниц поступает крайне недостаточно. Лечим тем, что есть»...

Прошло ещё две недели. Павлик продолжал лежать на больничной койке скрюченный, со стянутыми, как у краба, суставами. Его желудок перестал принимать пищу, и ему через тоненькую вену на кулачке стали вводить глюкозу. Он всё чаще терял сознание, но уже не матерился, а тихо стонал. Мама всё чаще падала на колени и беспрестанно шептала свою мольбу Богу:

– Великий Боже! Прощу тебя: исцели моего сына!

Однажды вечером я очнулся от того, что в палате было очень тихо. Это было необычно: палата была огромная, в ней лежало человек двадцать, и всегда слышны были какие-то шумы, разговоры, чаще стоны больных. Но сейчас было темно и стояла полная тишина. Только на моей тумбочке, тихо потрескивая, горел неровным синим пламенем каганец – самодельный светильник, состоящий из фитиля, опущенного в плоску с каким-то горючим веществом. Каганец то вспыхивал ярким пламенем, то угасал. Наверное, горючее заканчивалось.

Вдруг я почувствовал, что чья-то холодная рука коснулась моей головы: кто-то пытался погладить меня. Но это была – не мама: она сидела рядом на табуретке и вместе со мной молча смотрела на пламя каганца. Я с трудом повернулся и увидел человека, которого видел и раньше, до болезни, но в другом месте, далеко от больницы. Его звали «брат Даниил», и был он пресвитером баптистской церкви, в которую с недавнего времени мы с мамой стали ходить.

– У тебя совсем нет волос на голове, – сказал брат Даниил.

– У Павлика был сильный жар, – объяснила мама. – И все волосы выпали.

Я молчал. Про волосы я и сам не знал, я давно не видел себя в зеркале. А брат Даниил продолжал своими ледяными пальцами гладить мою лысую, как тыква, голову.

– Большие страдания ты принял, брат Павел, – произнес он с печалью в голосе. – Не каждому Господь даёт такие испытания, да не каждый и выдержать их может ... – Священник разговаривал со мной, как с равным. Как со взрослым. Это было ново и удивительно. – Ты много претерпел, брат Павел, несмотря на свои совсем детские года. И, может быть, Господь, глядя на твои муки и долготерпение, проявит милость и даст тебе здоровье...

Я молчал, чувствуя, что жизнь во мне теплится еле-еле, как вон тот каганец, и может внезапно кончиться в любое мгновение...

Брат Даниил и мама встали на колени рядом с моей койкой и начали тихо молиться о моём выздоровлении.

Потом пресвитер поцеловал меня, как принято среди братьев во Христе, и попрощался.

Мы с мамой остались. Она прилегла на краешек моей койки, а я стал смотреть на слабое свечение каганца. Электричество в больнице включали редко и только днем: вероятно, только для неотложных больничных нужд.

После ухода пресвитера я почувствовал некоторое просветление и решил помолиться сам, как учила меня мама. «Господи, – произнес я тихо, чтоб никто не слышал. – Господи, прости и помилуй меня».

Каганец вдруг вспыхнул и после этого вдруг совсем погас. Но ещё не погас.

Когда он погаснет, подумал я, меня больше не будет. Я тоже погасну и умру...

Я больше не могу. Не могу и всё.

Не могу...

Через несколько мгновений хлипкое пламя фитилька предсмертно мигнуло, превратилось в точку и, наконец, совсем погасло. И одновременно с ним прекратилось дыхание и перестало биться сердце Павлика.

Всё остановилось. Это было начало конца: наступила смерть.

Павлик умер.

Мать, еще не понимая, что случилось, хотела было возжечь каганец, но притронувшись по привычке к телу сына и поняв, что с ним что-то не так, она вдруг закричала страшным голосом:

– По-мо-ги-те-е-е-е-е-е-е!

Прибежали дежурные медсестра, врач. По случайному совпадению дежурил как раз многоопытный Петряк. Не раздумывая, доктор начал проводить искусственный массаж сердца и лёгких Павла. Он, не переставая, работал и работал, периодически надавливая на хилую грудь мальчика своими жилистыми руками и вдывая воздух в его рот. Потом, приняв из рук сестры большой шприц, он сделал укол прямо в сердце Павлика. Пот струями стекал с лица доктора, заливал глаза, а он, не обращая внимания, всё качал и качал. «Ну, давай, – хрипел он, изнемогая от напряжения, – давай, работай».

Наконец, сердце мальчика затрепыхалось, забилось, и он задышал.

– Давай, дружок, возвращайся, – проговорил доктор Петряк, переводя дух. И, обессилив, рухнул на табуретку.

* * *

Моя клиническая смерть порядком всполошила всю палату и медперсонал.

Я был еще совсем слабым, когда утром снова собрался консилиум. Но на этот раз не именитые врачи обследовали меня, а доктор Петряк. Мой лечащий врач, которого отныне и до конца дней своих я буду почитать как моего спасителя, подробно выстукивал и выслушивал мои сердце и легкие, считал пульс. Пробовал разогнуть мои скрюченные руки и ноги, но резкие боли не позволили добиться успеха. Наконец, доктор Петряк встал с моей постели и сказал, обращаясь к коллегам:

– Просматривается значительное увеличение левого желудочка, нагрузка на миокард возросла. Вероятно, поражен митральный клапан. Пульс сильно учащенный.

Он предложил отменить все предыдущие назначения, и сделать мне инъекции какого-то нового – я не запомнил, какого – препарата для укрепления сердечной мышцы. Кошелев и Юхим согласились.

В течение следующих дней, после ввода новых препаратов, я почувствовал некоторое облегчение. Стал дышать полной грудью, появился аппетит. Мама немного повеселела и сходила домой. К вечеру она принесла в горшочке, завернутом в одеяло, горячий куриный супчик, который я раньше очень любил. Наверное, пожертвовала всё-таки одной из своих курочек. Она с улыбкой смотрела, как я ем с ложки. Без её помощи я не мог даже ложку поднести ко рту.

Однажды на утреннем обходе вместе с лечащим врачом к моей койке подошел еще один человек. На нем внакидку висел белый халат поверх военного мундира. В какой-то момент я разглядел узенькие белые серебряные погоны майора медицинской службы. Майор был коренаст и плотен, его круглое лицо излучало дружелюбие и внимание.

– Это военный врач Марко Петрович, – представил незнакомого человека доктор Петряк, обращаясь не столько ко мне, сколько к маме.

– Ну, здравствуй, герой, – протянул Марко Петрович мне свою пухлую руку, но, увидев, что я не могу ответить ему тем же, мягко сжал мое предплечье. Я почему-то сразу понял, что это – рука друга, в которой я так нуждался.

– Марко Петрович – терапевт, – пояснил доктор Петряк. – и он ещё специалист-ревматолог. Он служит в военном госпитале в нашем городе и по моей просьбе дал согласие по совместительству поработать в нашей больнице.

– По правде говоря, – шепнул мне на ухо мой спаситель, – это я попросил Марка Петровича специально поработать с тобой, Павлик.

Марко Петрович внимательно посмотрел на меня. Взгляд его из-под кустистых рыжеватых бровей по-прежнему излучал добродушие и какую-то бесшабашную уверенность и силу.

– Теперь осталось главное, – сказал он, – настроиться на выздоровление. Выздоровливают и выживают те, кто хочет выжить... Главное – это настрой. Настрой на жизнь... Ты готов? – вдруг спросил он у меня.

– Да, да! – пропищал я с надеждой. – А вы поможете мне?

– Для этого я и пришел к тебе. – И Марко Петрович грузно сел ко мне на койку и приступил к врачебному обследованию того, что от меня ещё оставалось.

Я понял, что в моей жизни, точнее в том зыбком состоянии между жизнью и нежизнью, в котором я пребывал последних полтора месяца, начинают происходить кардинальные изменения. Наконец-то, после всего того, что я пережил, появилось твердое желание – *выжить! И жить, жить, жить...*

Марко Петрович приходил ко мне через день. И каждый раз он приносил с собой небольшие пузырьки, и медсестры делали мне уколы из каких-то новых препаратов. Я не знал их названия, но чувствовал, что они помогают. Откуда что бралось, я не знаю, но похоже, что это был тот самый «дефицит», о котором говорил доктор Юхим.

Через неделю меня вообще колоть перестали – дело явно шло на поправку. Дедушка Николай приезжал каждый день и привозил разнообразную еду, которую успевали приготовить баба Маня и тетя Сеня. Я всё подметал теперь с немислимой быстротой: жор был отменный.

Марко Петрович начал учить меня упражнениям для восстановления функций рук и ног. Я кряхтел, обливался потом и делал всё, что он велел.

Однажды Марко Петрович принес две больших тубы и сказал, что в них – редкий немецкий препарат, который надо принимать для окончательного выздоровления. Препарат по цвету напоминал кизилковое варенье и на вкус был непротивный – кисло-сладкий.

Наконец, наступил день выписки из больницы. Дедушка Николай подъехал на санях почти к нашей палате, меня завернули в тулуп – ходить сам я пока не мог – и повезли домой.

Какое счастье возвращаться домой, зная, что ты идешь на поправку! Вдыхаешь в себя тугой свежий воздух и кажется, что его свежесть проникает не только в твои легкие, бронхи, а во все клеточки. И ты упиваешься этой свежестью и не можешь насытиться. И окружающий тебя новый мир вдруг приобретает такую полноту и разнообразие красок, что хочется кричать или плакать от переполняющих тебя чувств...

Февральское солнышко чуть-чуть припекало, а почерневший снег еще лежал плотной коркой. На дороге, в колеях стояла талая вода, хотя ручьёв еще не было. Зима еще не ушла, но голубое небо в пушистых барашках и бодрый напористый ветерок уже тянули к весне. И мир деревьев, птиц, животных и людей уже готовился к весенним переменам.

* * *

Дальше всё было просто и хорошо. Доктор Марко Петрович изредка приезжал к нам домой и привозил тубы с немецким препаратом. Тётя Сеня сшила мне теплое пальтишко, а соседка тетя Маруся подарила мне теплую стёганую безрукавку. Дедушка своими руками смастерил мне из старой шинели теплые бурки. Мама стала выносить меня на улицу, и я тихо сидел на призьбе (завалинке).

Прошел еще месяц, пока мои руки и ноги стали почти нормальными, и в конце марта я начал заново учиться ходить.

В начале апреля я бегать еще не мог, но, держась за стены, вполне мог передвигаться.

Наступила пасха. В связи с праздником дедушка заколол кабанчика, и в воскресный день мы разговелись крашеными яйцами, а потом пообедали свежениной. После обеда дедушка Николай приехал к нам на двуколке, запряженной всё тем же старым Каштаком, и велел мне собираться.

– Поедем к Марку Петровичу, – сказал он. – Поздравим нашего спасителя с праздником.

Я быстро, теперь уже без посторонней помощи оделся. Дедушка подхватил меня и посадил на деревянное сиденье рядом с собой. В ногах лежал белый мешок с чем-то.

– Что там? – спросил я.

– Подарочек для доктора.

– Н-н-но! – дал команду коню дедушка, и мы поехали.

Ни одно путешествие в мире не может сравниться с той поездкой.

Мы ехали сначала в центр города, потом свернули на Пэмынтены.

Мне кажется, я никогда до того не видел столько цветущих деревьев. Улицы и переулки, по которым мы ехали, утопали в садах. Цвели вишни, сливы, абрикосы, которые росли почти в каждой усадьбе. И всё окружающее пространство садов было наполнено таким радостным бело-розовым сиянием, что, казалось, всё это потрясающее весеннее великолепие готово взлететь в васильковое солнечное небо. И мы вдыхали целебнейший аромат садов и не могли насытиться.

Марко Петрович жил в скромной казенной квартире с женой и дочерью, девочкой лет десяти. Маленький палисадник перед его квартирой тоже был в цвету.

Пока дедушка привязывал поводья к забору, доктор вышел во дворик и, широко шагнув ко мне, вдруг схватил меня и высоко поднял своими сильными руками.

– Ну, здравствуй, дорогой мой пациент! Здравствуй, *воскресший из мертвых*, – сказал человек, *благодаря усилиям которого моё воскресение перешло в полное выздоровление.* – *Для меня большая радость, что ты пришел ко мне и пришел на собственных ногах.*

Тут подоспел дедушка Николай с мешком. Они похристосовались с доктором, и дедушка передал ему наш подарок. То был свиной окорок. По тем голодным временам – подарок королевский.

Потом мы пили чай в окружении семейства Марка Петровича и вспоминали больницу, особенно, доктора Петрука. Оказывается, его звали просто – Иван Иванович. А я не знал.

Именно в тот день Павел твердо уверовал, что пока на свете есть доктор Петрук, Марко Петрович и подобные им люди, он никогда не умрет.

Письмо с фронта

1945

Бельцы

Май – мой любимый месяц. В Бессарабии, стране моего детства, природа начинает пробуждаться к жизни в марте: вскрываются спящие подо льдом мелкие речки и неожиданно превращаются в бурные и опасные потоки, на лугах и полях появляется щетина зелени, а на деревьях проклёвываются почки. В марте начинают цвести и в апреле-мае полностью распускаются деревья сливы, яблони, груши, черешни, вишни, абрикоса, персика, айвы. В мае же кусты персидской сирени начинают фонтанировать нежно-лиловыми кистями и, наконец, каштаны зажигают величественные паникадила своих соцветий. Воздух пропитывается таким сумасшедшим бело-розовым дурманом, от которого кружится голова и появляются нелепые желания.

Никогда природа Бессарабии не бывает так прекрасна и так вызывающе нарядна, как в мае. Никогда кровь в жилах не бурлит так сильно и так настойчиво, будоража сознание и всю сердечно-сосудистую и эндокринную системы.

Зелёная солнечная страна наполняется счастьем и радостным ожиданием ...

Май – время наивысшей активности всего живого и возрождения всего самого красивого в нашем мире.

В один из майских дней мать окучивала картошку в нашем огорошке, а мы с соседкой Мусей осваивали новый снаряд – качели. Они были устроены просто: один конец толстой веревки был привязан к ветке дерева шелковицы, которое росло в нашем дворе, другой – состоял из большой петли, в которую надо было просунуть одну или обе ноги, и – качайся сколько хочешь. Сначала попробовал себя на качелях я – понравилось, потом Муся – ей тоже понравилось, потом мы решили, что веревка толстая, выдержит, и взгромоздились в петлю оба. Но мама, увидев нашу игру, тут же зашумела:

– Диты, вы зломыты дэрэво!

И правда, тяжесть двоих, даже таких тощих, какими были мы с Мусей, дерево, пожалуй, не выдержит.

Вернулись к первоначальному варианту и качались по очереди: то Муся, то я, то Муся, то я. Было хорошо и весело. Только веревка сильно натирала ягодицу.

Время близилось к обеду, когда у калитки раздался требовательный окрик:

– Мадам Крестная!

Это была тетя Марица, женщина почтенных лет и внушительных объемов. Она была почтальоном в нашей магале. У тети Марицы на необъятном животе висела толстая сумка на широком ремне, которая придавала ей очень солидный вид. Прежде, бывало, она иногда заходила в наш домик, чтобы передохнуть и перекинуться с матерью парой слов. Они были старые знакомые.

– Мадам Крестная! – снова повторился густой бас почтальонши.

– Что случилось, тетя Марица? – спросила мама, оставив сапу (тяпку).

– Вы имеете получить скрисоаре. – Тетя Марица была молдаванка и не всегда понятно говорила по-русски. – Письмо. Из фронт. – Она протянула матери бумажный треугольник.

Мама ни жива, ни мертва подошла к почтальонше и дрожащими руками приняла треугольник.

– Письмо с фронта? – растерянно переспросила она. Оно могло быть хорошее, а могло быть и совсем нехорошее. – От кого же оно?

– Там написан полевой почта и нумеле – Крестный Василий.

– Значит, от Васи. Слава Богу! Спасибо, тётя Марица!

Письмо было необычайно важным событием в нашей жизни. Но прочитать его мы не могли: мама была неграмотной, я – пока тоже. Что делать? Читать умели только дедушка Николай и тётя Сеня. Баба Маня читала только печатные тексты и то по слогам. Надо было идти к ним.

Муся ушла домой, а мы с мамой огородами, напрямик, для сокращения пути, отправились к своим.

Дедушка, как всегда, был в работе. Он сидел в тени старого ореха на табурете и, постукивая молотком по толстому косарю, щепал дранку из еловых чурбачков. Дедушка Николай считался лучшим кровельщиком-гонтарем не только в нашей магале, но и в ближних селах.

Пока мы жили в оккупации, в его ремесле никто не нуждался, но вот врагов прогнали, наступило спокойное время, и люди стали думать не только о том, как выжить. Снова стали строить дома. Такие кровельные материалы, как шифер или жесь, были недоступны. Дома крыли либо трощей (тростником), либо дранкой. И дедушка Николай Степанович стал нарахват.

– Тато, – задыхаясь от волнения и быстрой ходьбы, проговорила мама, – пришло письмо от Васи. – И она протянула дедушке драгоценный треугольник.

Дедушка отложил в сторону свой инструмент и бережно принял послание:

– Ну-ка, ну-ка, – проговорил он, вскрывая корявым пальцем треугольник. – Да, это от нашего Васи. Ну, пойдем в хату.

Баба Маня возилась на кухне, готовя обед, а в горнице тетя Сеня что-то шила, громко строча на швейной машине «зингер». С детства после какой-то тяжелой болезни она получила искривление позвоночника и стала горбатой, но была старательна и трудолюбива, выучилась у знакомого мастера-еврея кройке и шитью и теперь к ней, как к «модистке», тоже стали обращаться разные заказчики.

Узнав, что пришла весточка от Васи, баба Маня и тетя Сеня первым делом заплакали. Но дедушка резко прикрикнул на женщин и властно приказал:

– Сянько, бросай свое шитьё. Будешь читать.

Всё наше семейство расселось по лавкам, покрытым разноцветными самоткаными налавниками, и тетя Сеня начала медленно, растягивая каждый слог, читать:

«Здрав-ствуй-те, до-ро-ги-е и род-ные мо-и тато, мама, сестра Ксения, жена Докия и мой сын Павел – хлопчик с золотой головкою! Во первых строках своего письма сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам же-ла-ю».

– Ну, слава Богу, – дрожащим от напряжения голосом произнесла бабушка. – Слава Богу, жив-здоров. – И не выдержав, баба Маня снова заплакала, уткнувшись морщинистым лицом в фартук.

Тетя Сеня сделала паузу, высморкалась в платочек и продолжила свое чтение:

«Ещё сообщаю, что мы бьем врага на его территории и приближаемся к его логову. Я участвовал в боях, был ранен, но, слава Богу, уже выздоравливаю...»

– Смотри-ка, – прервал чтение дедушка, – был, оказывается, ранен. А куда ранен, не пишет?

– Нет, – ответила тетя Сеня и продолжила:

«У меня хорошие товарищи, мы живем дружно. Каждый знает, что сегодня он выручает товарища, а завтра, может быть, придется выручать его. Иначе нельзя».

– Иначе нельзя, – повторил дедушка. Возможно, он вспомнил свои солдатские годы и своих товарищей по окопу. Он воевал в японскую.

«Как вы живете, родные? Имеете ли что кушать? Не голодаете ли? Как ваше здоровье? Отпишите мне. Помогает ли маме и дедушке с бабушкой мой сын с золотой головкой?»

Жду ответа. Ваш Василий, младший сержант.

22 апреля 1945 г.».

– Уже сержант, – прокомментировала тетя Сеня. – Молодец, Васька.

Послание с фронта было прочитано. Оно оказалось коротким, но всё, что нам надо было знать, в нем было.

– Про какое логово пишет Вася? – спросила бабушка.

– Наверно, это Берлин, – высказал предположение дедушка. – В газетах пишут, что наши войска приближаются к Берлину, который называют логовом врага.

Дедушка слыл человеком знающим: он постоянно читал московскую «Правду» и кишиневскую «Советскую Молдавию».

– Так бы и написал: идем, мол, на Берлин.

– Нельзя, женщина. В армии это называется военная тайна.

– Про товарищей Васька хорошо пишет, – заметила тётя Сеня.

– Да, – сказал дедушка. – Но не забывай, что он младший сержант, то есть – командир.

А командир отвечает за своих товарищей еще и по долгу службы.

– Как он там воюет?

– Раз пишет, что участвовал в боях, значит всё в порядке.

...Позже, после демобилизации, Пашин отец никогда не рассказывал о своем участии в боях. Когда Павлик спрашивал его, за что он получил медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина» и другие, он постоянно отвечал одно и то же: «Медали как медали. Всем давали, и мне тоже дали». Никаких подробностей до конца своей жизни он так и не сообщил.

И только недавно, много десятилетий спустя, Михаил, младший сын Павла, обнаружил в интернете официальный наградной лист на своего деда, Крестного Василия Николаевича, от 30 мая 1945 года, в котором было написано следующее:

«Младший сержант Крестный – участник боев по преследованию противника от р. Висла до р. Одер. В боях за деревню Куницдорф 17.02.45 участвовал в отражении контратак противника с танками и самоходными орудиями. В этом бою т. Крестный из ручного пулемета уничтожил 9 немцев, после чего, перейдя в наступление, т. Крестный со своим помощником атаковал один дом и захватил в плен 6 немецких солдат. Он – также участник прорыва глубокоэшелонированной обороны немцев на западном берегу реки Одер 16.04.45. Проявил при этом мужество и отвагу. Первым ворвался в траншею противника, бросил гранату и уничтожил 1 немца. В этом бою т. Крестный был ранен»

Таким было на самом деле участие отца в боях, документально удостоверенное командиром полка неким полковником Богдановым...

– Хорошее письмо, – сказал в заключение дедушка. – Не всем Господь дает такую радость. Нам дал.

Все молчали. Баба Маня, горестно вздохнув, добавила:

– Многие не вернутся с этой войны. Много горя будет на нашей земле.

– Давайте преклоним колени, – предложила бабушка, – и поблагодарим Господа за добрую весть.

Всё наше семейство опустилось на колени, и в полной тишине зазвучали слова, произносимые глуховатым голосом бабушки:

– Отец наш небесный! Ты даёшь каждому из нас жизнь, хлеб насущный, здоровье и благополучие. Благодарим Тебя, Боже, за всё, что Ты даешь нам, и просим Тебя утешить скорбящих в горе и поддержать слабых. Мы благодарим Тебя за благую весть о нашем сыне, отце и воине Василии. Господи, спаси и сохрани Василия и всех нас. Аминь.

– Аминь, – громко повторили мы: баба Маня, тетя Сеня, моя мама и я.

Мы твердо верили, что наша молитва будет услышана.

А отец Павла, раненый, а потом и контуженный, весной 45 года с боями дошел до Берлина, расписался на стене рейхстага и летом 46-го вернулся домой.

Деревянные человечки

1945

Бельцы

Откуда появилась страшилка о деревянных человечках, никто не знал. Но каждому ребенку нашей магалы было известно, что в ближнем лесу обитают необычайно злые существа, похожие на людей, но на самом деле – деревянные. По слухам, после захода солнца они выходят из леса и тех, кто попадается, могут поймать и загрызть до смерти. Спасало только то, что на своих деревянных ногах эти злобные твари передвигались, как на ходулях и бегать не могли. Отличительной особенностью человечков были каски на их деревянных головах. Находились даже очевидцы, которые уверяли, что держали каски в руках. Высказывались предположения, что их потеряли деревянные человечки.

С северной стороны наша окраина, или магала Берестечко, была отделена от остальной части города речкой Реуцел, а вдоль южной холмистой стороны на несколько километров тянулся тот самый лес, который казался нам загадочным и страшноватым. В обычных лесах водятся всякие звери: лисицы, кабаны, волки. В нашем лесу таких зверей не было, но мы, мелкота, ходить в лес побаивались из-за деревянных человечков. По этой причине выбирали для игр холмы, овраги и луга безлесной западной стороны, где были выпасы для коров и коз.

Мы играли в лапту, догонялки, жмурки, чику. Иногда в погожий день собиралась большая ватага. Приходили братья Донцовы, Жорка Баранец, Люба Грумеза, братья Морару, Ванда Ямпольская и много других ребят и девчонок. Больше всего я радовался, когда приходили те, с кем я дружил: Иван Бурдужан, Васька Бачинин и соседка Муся, или Маруся Иванова. Когда собиралось много народу, можно было поиграть в какую-нибудь серьёзную игру, вроде сыщиков и бандитов.

Перед игрой надо было разделиться на две команды. Дело это непростое. Сначала выбирали вожака сыщиков: большинство было за Ивана Бурдужана, которому было одиннадцать лет, но почитался он в нашем сообществе как честный и справедливый пацан. Вожаком бандитов безоговорочно выбирали плутоватую и хитрющую полячку Ванду, высокую девочку лет тринадцати с огненно-рыжими волосами.

Потом начиналась жеребьевка: каждый выбирал себе пару, но с таким расчетом, чтоб напарник после дележки попал в команду противника. Я обычно выбирал Жорку, который мне не очень нравился; мы сговаривались, кто кем будет, и, обнявшись друг с другом, – такой порядок – шли к вожакам.

– Матка-матка, чей допрос? – в один голос спрашивали мы у вожаков.

– Мой допрос, – отвечал Иван, если была его очередь.

– Что выбираешь: советского лётчика или румынского жандарма?

Если Иван выбирал советского лётчика, то, нетрудно догадаться, в его команду попадал я, а если – жандарма, то Жорка.

Игра могла продолжаться очень долго и так затягивала, что невозможно было остановиться. Бывало и так, что мы прекращали играть только тогда, когда слышали щёлканье бича: значит, был уже вечер, и Васька Кривой гнал козье стадо домой.

– А ну, шпана, по домам! – кричал Васька и резко взмахивал двухметровой плетью, извлекая оглушительный звук выстрела. – По домам! Не то попадетесь деревянным человечкам. Они вот-вот выйдут на охоту.

Васька, козий пастух, был не местный, а из дальнего села, где жили кацапы – так называли русскоговорящих переселенцев, большая часть которых были старообрядцами. Васька был из них, но, судя по образу жизни, он не придерживался строгих канонов старой веры:

курил махорку (страшный грех!), сильно матерился на русском и румынском языках, не прочь был пригубить стаканчик самогонки. Весной он появлялся в нашей магале, обходил дворы, где еще была какая-то мелкая рогатая живность, сговариваясь с хозяевами.

С восходом солнца Васька громко хлопал своим бичом, сбивая своенравных животных в стадо, и гнал их на пастбище. Было ему лет девятнадцать, может, двадцать. На круглом лице его начинали прорастать жиденькие усишки и несколько волосин бороды, которые он, как принято у кацапов, не брил. Ходил он, сильно припадая на правую, вывернутую наружу, ступню, за что и прозван был Кривым.

Денег почти ни у кого из владельцев коз не было. Поэтому пастушил Васька за еду и ночлег, и по окончании сезона с ним рассчитывались тоже натурой: кто козьим сыром, кто салом, кто одеждой.

Васька был чужаком в нашей магале, у него не было ни друзей, ни приятелей. Взрослые считали его порченным, а мы, малышня, побаивались и сторонились его. Но разными хитростями он всё же приманивал к себе, и время от времени мы общались с ним.

Главной приманкой было то, что Васька знал много интересных историй. Да и рассказчик был редкостный. Обычно, когда пацанва рассаживалась вокруг него, он доставал из кармана брезентовой куртки мешочек с махоркой, сворачивал толстую козью ножку и, не торопясь раскурив, начинал повествование. Он обстоятельно, с разнообразными страшными подробностями рассказывал о ведьмах, чертях и домовых, уверяя, что сам был участником многих приключений и не раз видел всякую нечисть. Нередко выяснялось, что ведьмами были его близкие знакомые и даже родственницы, а с оборотнем, дядькой Матвеем, он даже как-то возил жито на мельницу. Изредка Васька прерывал свой рассказ и, обращаясь к кому-нибудь из слушателей, ласково говорил:

– Борьця, будь другом, заверни вон ту козу к стаду. Долбани её палкой по рогам.

«Друг Борьця», он же Борик Донцов, пулей мчался к непослушной козе и быстро пресекал её антиколлективные поползновения, используя длинную Васькину палку-герлыгу.

По возвращении Борика ждал щедрый «подарок»: Васька протягивал ему свою козью ножку и разрешал затянуться раза два-три. Семилетний Борик, польщенный таким вниманием к собственной персоне, затягивался махорочным дымом, кашлял с непривычки, на что Васька замечал:

– Молодец, крепкий казак. Атаманом будет.

Через Васькину школу приобщения к тайному обществу курильщиков махорки прошли почти все пацаны. Я не был исключением. Само курение не доставляло никакой радости, наоборот, в первое время было противно, некоторых тошнило. Счастье было в другом: публично тебя удостаивали похвалы и признавали достойным быть равным среди равных, способным на действие, которое позволено только взрослым, – курение. Курение не считалось пороком, оно было неким символом самостоятельности и одновременно принадлежности к обществу сильных мужчин.

В устах Васьки Кривого легенды о деревянных человечках обрастали новыми и новыми подробностями. Он рассказывал, как однажды – дело якобы было совсем недавно, в позапрошлом году, – на его глазах трое деревянных человечков напали на стадо коз, поймали одну, разодрали на части и тут же сожрали. «Звали её Зойка. Когда её поймали и начали раздирать, она страшно кричала, – повествовал со слезой и дрожью в голосе Васька. – Как она кричала! Как она бедная кричала! Прямо как человек».

Но однажды произошла история, которая напугала меня и моих корешков и сильно подорвала веру в Васькины рассказы.

Мы слушали очередную Васькину байку и не заметили, как пошел дождь. Из пацанов нас было трое: Иван, Валька и я. Дождь усилился, и Васька Кривой на этот раз никого не стал ни о чем просить, сам побежал, хромя, за козами и через некоторое время с руганью и матом загнал их в овраг, где животные, повинувшись какому-то инстинкту, сбились в единую плотную массу.

Дождь все припускал, а на каждом из нас кроме сатиновых трусов не было ничего. Бежать до дома – далеко. Надо было где-то прятаться. По краям оврага рос мелкий орешник, и мы втроем забились в него.

Так прошло около получаса. Небо заволочло чёрными тучами, которые временами разрывались такими зигзагами молний и такими мощными раскатами грома, что каждый из нас готов был со страху молиться всем силам небесным.

Наконец, дождь понемногу стал утихать. Но было темно так, будто наступил поздний вечер. И резко похолодало.

Васька, в отличие от нас, был экипирован неплохо: на нем помимо рубахи и штанов была брезентовая куртка и на голову накинут холщёвый мешок, сложенный в виде капюшона. Время от времени он, ковыляя, куда-то удалялся, потом, заглянув к нам в орешник, обеспокоенно говорил:

– Ох, братки мои, чего-то мне не по себе.

Вид у Васьки был необычный, внушающий тревогу.

Что-то нехорошее то ли затевалось, то ли уже происходило ...

Дождь продолжал моросить, но казался более холодным, чем раньше. Козье стадо стояло смиренно, не двигаясь. Васька с озабоченным лицом опять уходил и приходил и всё охал, глядя, как мы жмёмся друг к другу, чтобы согреться.

– Что делать будем? – причитал он. – Боюсь я за вас. Как бы эти проклятые деревянные люди не появились.

Артист он был ещё тот.

От холода и Васькиных причитаний у меня начался колотун. Нагнал-таки он на нас страху.

Васька опять куда-то уковылял, но не прошло и минуты, как он закричал сумасшедшим голосом:

– На нас напали! На нас напали! Вот они, звери, я их вижу!

Мы с ребятами сидели в кустах, не шевелясь. Нам совсем не было видно, что там наверху происходит.

А Васька бегал где-то поблизости от оврага и кричал:

– Вот они, гады страшные! Они идут на нас! Пацаны, прячьтесь, я вас в обиду не дам. Пацаны, не высывайтесь!

Мы не то, что высываться – дышать боялись.

– Пацаны! – истерически кричал Васька. – Я начинаю бой. Я забросаю их поганые каски камнями... Ну, твари злобные, получайте!

Наверху слышалась непонятная возня, матерщина и истошный Васькин крик:

– Га-а-а-ды! Они бросают в нас каранидами (осколками кирпича).

И мы на самом деле слышали, как где-то рядом шлепались о листья орешника увесистые каменюки.

Совершенно невозможно было представить, чтобы дикие звери, а не люди, обладали способностью бросать какие-то предметы. Но кто это мог быть? Кто? Понять было невозможно.

Рядом с нами продолжали падать камни, что-то долетало и до нас. Было больно, но страшно было не от этого, а от неизвестности – что же происходит на самом деле?

– А-а-а, – заорал вдруг наш защитник. – Меня ранили!.. Но я буду сражаться до конца. И он начал выкрикивать румынские ругательства:

– Крушиа мэти! (Крест матери твоей!) – Как будто те, с кем он вступил в противоборство, русского языка не понимали, а румынский почему-то должны были знать. – Ну, держитесь! Я вам покажу!

Не знаю, что там после этого падало на каски противника, но на наши головы посыпался град мелких камней из глиняных осыпей, которых вокруг было множество.

– А-а-а, морды пога-а-а-ные! – воинственно орал Васька. – Вы на моих пацанов! Вы на моих братьев!.. Ну, получайте, га-а-а-ды!

Сражение продолжалось еще некоторое время и, возможно, затянулось бы надолго, однако после того, как мы еще несколько раз были обстреляны залпами камней и от одного из попаданий у меня начала вздуваться на голове шишка, друг мой Иван заматерился и тихо сказал:

– Ну, всё, гата. Больше не могу. Рвём когти.

Мы отползли на дно оврага, крадучись, прошли с полсотни метров, вылезли на мокрую равнину и, шлёпая босыми ногами по лужам, изо всех сил припустили к родной магале. Все слабее и слабее мы слышали Васькины крики. Где он был и с кем еще воевал, мы так и не узнали.

Наконец, показались ближние хаты нашей окраины.

– Все живые? – переведя дух, спросил Иван.

– Живые, – ответили мы с Валькой.

– Голова болит? – спросил он меня.

– Болит.

– Мне тоже пару раз попало по голове.

Мы всё еще не могли опомниться от пережитого.

Дождь прекратился. Нужно было расходиться по домам, но что-то оставалось еще недоговоренным, невыясненным.

– Брехня всё это, – наконец, сказал Иван.

– Что – брехня? – спросил Валька.

– Брехня. Нету никаких деревянных человечков.

– А как же всё то, что было сегодня?

– Не знаю, – задумчиво проговорил Иван, – но мне кажется, что это всё подстроил сам Васька.

Иван был не только самый старший из нас, но и самый рассудительный. Однако после всего, что произошло с нами, мы не знали, что и думать.

Мы уныло поплелись по домам, но история с деревянными человечками на этом не закончилась. Она получила совершенно неожиданное продолжение! Оказывается, не всё было брехней.

Когда я, наконец, явился домой, мать при виде меня бессильно опустилась на табуретку:

– Что случилось? Ты весь грязный и побитый?

Я невнятно ответил, что мы играли в поле, потом Васька Кривой рассказывал разные истории, но на нас напали ...

– Да что же это за игры такие? Вас били, что ли?

– Бить не били, – начал я объяснять. – Но нас с пацанами забросали камнями.

– Кто это был?

– Васька кричал, что это были деревянные люди в касках.

– В каких ещё касках?

Мать ещё пыталась что-то выпросить у меня, но я не мог ничего толком сказать. Тогда она налила большой таз воды, отмыла меня с куском хозяйственного мыла, смазала шишку на голове йодом, накормила и уложила спать.

А утром следующего дня, задав корм поросенку и курам, мать велела мне собираться:

– Надо нарвать травы для курочек. Ты мне поможешь.

Она взяла серп и мешок, и мы пошли. Я думал, мы пойдем в поле, но мать выбрала тропинку, которая вела в лес. Я шел с некоторой опаской, но мать была совершенно спокойна, и её спокойствие передалось мне.

Солнце поднялось высоко и уже припекало, но в тени деревьев было прохладно и хорошо. Лес был не густой, в основном акациевый, но попадались и молодые дубки, клены, одичавшие яблони и вишни, березки, верба, кусты орешника-лещины.

Мы быстро нарвали, мать – серпом, я – руками, полмешка травы, и можно было возвращаться домой. Но мать всё дальше углублялась в лес.

– Сейчас, – сказала она, – я что-то тебе покажу.

Мы ушли довольно далеко от магалы. Вскоре лес начал редеть, и мы вышли на огромную поляну. Но – что это?

Перед нами открылась удивительная картина: на большей части поляны стояли длинными рядами кресты. Кресты были деревянные, некрашеные, высотой с метр или чуть больше, они идеально ровными шеренгами тянулись далеко в лес.

– Что это? – спросил я маму.

– Это немецкое кладбище, здесь во время войны хоронили немецких солдат.

Но самое поразительное, что я увидел – это каски. На каждом кресте сверху была надета серая немецкая каска. Их было много. Очень много. Я никогда не видел столько крестов с нахлобученными на них касками.

– Вот, они, твои каски, – сказала мама.

Кажется, я начал понимать: каски, деревянные кресты... Вид у них был довольно злоеущий.

Так это же – деревянные человечки, наконец, догадался я. Точно. Это они, только неживые...

Но кто-то догадался их одушевить, и превратить в злобных тварей.

Так была разгадана тайна главной страшилки нашей детворы.

– Теперь ты всё понял? – спросила мама. – Кресты с касками, правда, похожи на человечков. Но бояться их не надо. Они были страшными, когда были живыми. Немцами. А деревянные они уже не опасны.

И мы пошли домой.

А Васька Кривой всё же проболтался. В конце лета, находясь в состоянии подпития, он стал рассказывать о своих подвигах и не мог удержаться, чтобы не похвастать, как разыграл пацанов, инсценировав нападение на нас деревянных человечков, и какого страху он нагнал на нас.

Мы понимали, что Васька человек нехороший и даже подлый. Однако время от времени он снова заманивал нас своими сказками и завиральными историями. И мы снова садились кружком вокруг него и слушали его трёп.

Фантазёр он был ещё тот.

Флорика

1945

Бельцы

Война окончилась, но отец всё еще был в армии. Он писал, что служит в комендатуре Берлина.

Почти каждый день с восходом солнца мать уходила на заработки. Чаще всего это была работа в поле: либо у дедушки Николая (ему был выделен клин около двух десятин земли), либо у престарелых или одиноких соседей. Работа была крестьянская, хлеборобская, к которой мать привычна с детства. Рассчитывались с ней кто чем мог: зерном кукурузы, ржи, пшеницы, брынзой, салом, овощами, фруктами, молоком, иногда, поздней осенью, мясом и салом. Особенно много помогал нам дедушка.

Я оставался дома один.

– Ты остаешься за хозяина, – наказывала мать. Это означало, что я не должен был уходить со двора.

Пребывание дома предполагало ничегонеделание и скуку, но я не скучал. У меня была своя компания: поросенок, который жил в просторном ящике на подстилке из соломы, и кот Васька. Я залезал к поросенку в ящик, и он тут же опрокидывался на спину и подставлял мне свое розовое брюшко: «Почеши». Я почёсывал его, и он начинал умиротворенно хрюкать и тереться пяточком мое ухо. Через какое-то время кот Васька присоединился к нашей компании, прыгал в ящик и тут же выгибал свою спину, чтоб погладили. У нас была полная идиллия.

Затем мы с моими животными начинали играть в больницу. Я изображал доктора, а поросенок и кот – пациентов. Поскольку в нынешнем году я болел довольно долго, и лечили меня всевозможными снадобьями в порошках, в доме скопилось много бумажек из-под порошков. Я брал пустые бумажки и наполнял их «лекарством» – крупой кукурузы. Поросенок в нашей больнице «болел» животом, и «доктор» давал ему порошки с крупой кукурузы, а у кота, как у меня еще недавно, была «ангина», и он получал «микстуру» – чайную ложечку молока. «Больным» очень нравились такие «процедуры», и они с удовольствием принимали свои «лекарства».

Мы могли, с обязательными перерывами на тихий час, играть целый день, и когда приходила мама, все были довольны жизнью: и кот Васька, и поросенок, и, конечно, я. Мама с удивлением спрашивала:

– Сынок, как ты тут один, целый день?

И я говорил одно и то же:

– Я был не один, у меня хорошая компания.

Иногда приходили мои друзья: Иван и соседка Муся, и мы играли в семью. Иван, как старший по возрасту, был «отцом», а мы с Мусей – его «детьми». Первым делом мы начинали строить свой «дом». В ход шли две имеющиеся табуретки, единственный стул, пустые мешки, старые платки и другое тряпье. После постройки «дома» мы залезали в него. Было тесно, каждый дышал в затылок или в ухо другому, но нам было хорошо: мы пребывали в своем «доме», который, казалось, защищал нас. Мы могли сидеть в «доме» довольно долго, но Иван вылезал первым и говорил:

– Пора обедать.

Мы начинали суетиться. Муся приносила из дому – она жила с матерью рядом с нами – либо большую плацинту с тыквенной начинкой, либо кусок мамалыги с брынзой. Я доставал то, что мне оставляла мать: мамалыгу и бутылку кипяченого молока. Иван выкладывал на стол

хлеб, абрикосы и сливы из своего сада, потом, как старший, делил всё на три равные кучки, и мы садились обедать.

Через некоторое время после обеденного перерыва начиналась игра в школу. Иван перешел во второй класс и умел читать и писать. Мы с Мусей как неграмотные «дети» были зачислены в первый класс, Иван был нашим «учителем». Писать было не на чем, поэтому в ход шло всё, что можно было найти: обрывки оберточной бумаги, старые газеты. Карандашей тоже не было, Иван просто выковыривал из печки твердые черные угольки и ими писал. Вероятно, он хорошо помнил, как его в первом классе учили грамоте, потому что вместе с изучением букв, например, «А» и «М», он тут же учил нас складывать буквы в слоги и слова, и уже после первых занятий мы умели читать слово «мама».

Иван был хорошим выдумщиком и к обязанностям «учителя» подходил серьезно. После урока грамоты он проводил урок сказок и начинал рассказывать нам, «ученикам», всё, что читал сам и слышал в школе. Потом после «перемены» мог начаться урок арифметики, и так продолжалось до тех пор, пока не приходила мама. Наш семейный «дом» быстро разбирался, вещи водворялись на свои постоянные места, и гости расходились по домам.

Мать никогда не выказывала своего недовольства, даже если что-то было не так.

В погожие дни мы с Иваном и Мусей ходили за город, на речку Реуцел, купались, играли.

По воскресеньям мать не работала. «Грех», – говорила она. Иногда мы с ней ходили в церковь, а после утренней службы – на базар, который назывался «толкучкой».

На толкучке было людно. Казалось, всё население города столпилось на огромном пустыре в центре города, чтобы что-то продать или купить. Здесь было также много крестьян из окрестных сел: они чуть свет кто пешком с торбами, кто на каруцах прибывали на базар по всем шляхам – кишиневскому, флорештскому, рышканскому, глудянскому, фалештскому. Много было и цыган: они торговали самодельными гребешками, красивой конской сбруей, коваными топорами, серпами, молотками и прочим железом, – люди говорили, что все изделия цыганских ремесленников высокого качества. А цыганки то и дело приставали с гаданием или бродили небольшими группами в поисках ротозеев, которых можно обдурить или у которых можно что-нибудь стащить.

Время было послевоенное и бедность большинства бессарабцев, таких, как мы с матерью, граничила с нищетой, поэтому и выбор товаров не отличался особым разнообразием. Мелочь и всякое барахло выставлялись прямо на земле на подстилках из ткани или бумаги. Здесь, среди ржавого довоенного хлама, можно было найти вещи, нужные для хозяйства: от гвоздя, болта, молотка до столярного и слесарного инструмента.

Одежду, в основном поношенную, продавали с рук. Некоторые продавцы со своими тряпками были очень нахрапистыми, не давали проходу, приставали, совали в руки свой товар и требовали назвать свою цену.

Небогатый набор продуктов продавался тоже с рук. Лето было необычайно засушливым, был недород, особенно, по зерновым. Товаров было немного, и продавались они по так называемым коммерческим ценам, совершенно недоступным для большинства покупателей. Буханка черного, как дёготь, хлеба стоила сто рублей – сумасшедшие деньги. Полукилограммовый брусок сала стоил еще дороже. Несколько скорбного вида тёток продавали пшеницу и рожь в мисочках. Овощей и фруктов вообще не было, хотя стоял август – время сбора плодов.

Дальше располагались повозки с бочками: здесь торговали домашним вином урожая прошлых лет. Говор был, в основном, молдавский: лучшие вина делали в молдавских селах.

– Пофтим, ун пагар де вин! (Пожалуйста, стаканчик вина!) – весело предлагал пожилой усатый виноторговец.

Другие торговцы были не менее приветливы. Каждому желающему купить хотя бы литр вина наливалось для пробы полстопочки. Тех, кто проявлял интерес к пробам и доходил до последней бочки в ряду, обычно уже потягивало на подвиги, песнопения и прочие проявления высоких чувств.

По пути увидели небольшую шевелящуюся толпу. Что такое? Оказывается, мужики поймали вора: залез к кому-то в карман. Били толпой. По-крестьянски старательно, но без особой злобы. В последние годы дармоедов и воря расплодилось изрядно. Били для назидания другим.

Когда битъё закончили, толпа мгновенно растаяла, а на желтой глинистой земле остался лежать щуплый босоногий парнишка лет восемнадцати в испачканной сорочке и рваных черных галифе. К нему подошли две сердобольные женщины, которые приподняли его. Он смотрел куда-то вдаль безумными глазами, из носа его текла кровь. Ему оказали посильную помощь. Чуть поодаль стоял милиционер в белой гимнастике с большим револьвером на боку. Он старательно делал вид, что ничего не замечает.

Дальше шёл ряд горшечников. В нескольких арбах с высокими бортами, рядами, аккуратно упакованные в солому, стояли глиняные кружки, миски, горшки ёмкостью от литра до одного, двух и даже трёх ведер. Здесь же были выставлены детские глиняные свистульки. Мы остановились у одной арбы, и мать спросила у краснощекой приветливой молодежи, откуда вся эта красота.

– Мы з Окраины, тут нэдалэчко, з пид Хмельницького, – ответствовала украинка.

– Знаю ваши места, бывала там. Хорошие там люди, – говорила мама. И мы поспешали дальше, пожелав молодежи успехов.

Маму интересовал скот. Дальше на пустыре вплоть до самой Цыгании шла торговля поросятами, овцами, козами, коровами, волами. Мать с любопытством приглядывалась к овечкам, гладила их волнистые спины. Те благодарно блеяли, вскидывая свои сопливые мордочки. Мимо коз мы прошли быстро, не обращая внимания на бородатых животных: в нашей родове к козам относились пренебрежительно. Крупное рогатое поголовье было представлено худыми от бескормицы мосластыми коровами и телушками бурой, черной и пестрых мастей. Мать долго стояла возле них, явно любясь и вздыхая: корова стоила в те времена целое состояние. Нам ли, голытьбе, думать о покупке коровы? И всё же, несмотря ни на что, мать тайно мечтала о своей корове, при всем несоответствии наших возможностей такой мечте.

Оказалось, однако, что некоторые мечты имеет свойство сбываться.

В один из воскресных дней наше хождение по толчку затянулось дольше обычного. Мать встретила со знакомыми селянами и не могла удержаться от расспросов. Крестьяне рассказывали о своей жизни, о наделах, которые им достались при дележе земли, о тревоге за урожай этого года. Лица людей были озабочены: как выживать при такой засухе? Многие, став владельцами наделов, начали обзаводиться скотом: овечками, лошадьми, а некоторые – и коровами. А чем кормить скот, если травы высохли, соломы мало, а других кормов нет?

Как понял Павел много лет спустя, это были первые заботы и надежды недолгого послеоккупационного периода, когда бессарабский крестьянин поверил в лозунг «Земля – крестьянам» непосредственно перед этапом коллективизации. К сожалению, позднее, после страшного голода 1946–1947 годов, когда всех начали загонять в колхозы под угрозой раскулачивания, радости сменились разочарованием, страхом и даже злобой.

И только в 1960-х годах, когда колхозы стали на ноги, крестьянин вновь почувствовал себя сытым, обеспеченным и более-менее довольным.

Вернулись мы домой после полудня и обнаружили, что на нашем подворье происходит что-то необычное: на завалинке дома сидели какие-то люди, у дерева шелковицы на привязи паслась чья-то тёлка, которая успела накакать на наш огород.

– Ну, наконец, явились, – произнес, вставая с завалинки, невысокий человек. – Мы заждались.

– Тато, мамо! – тонко вскрикнула моя мать, узнав родной голос, и бросилась в объятия гостей.

Оказалось, это были мамины родители – мой дедушка Харлампий и бабушка Кассандра. В их доме в селе Молдаванка я родился и прожил первые месяцы своей жизни. Потом мы с моим отцом и матерью уехали из Молдаванки в город и больше с дедушкой Харлампием и бабушкой Кассандрой не виделись. А они продолжали свое житье в селе. Вместе с ними жили их младшие дети – мои тётки и дядя.

Дедушка был еще нестарый, плотного сложения крепыш, с выдубленным солнцем, ветрами и дождями конопатым лицом и седыми волосами. Бабушка Кассандра, напротив, была очень худой и выглядела изможденной. У неё было удлиненное лицо красноватого цвета с выпирающими скулами и большими глазами цвета чернослива. Голова её была покрыта, несмотря на жару, двумя платками: белым, ситцевым, и поверх него серым, шерстяным. На ногах дедушки и бабушки была необычная обувь – остроносые лапти из сыромятной телячьей кожи – постолы.

– А это кто такой? – обратил на меня свое внимание дедушка.

– Это ваш внук Павел, – объяснила мама.

Я подошел к дедушке. Он обнял меня и поцеловал в лоб.

– Гарный хлопец. Да ещё с самовязом. – Дедушка достал из огромной торбы горбушку ржаного хлеба и протянул мне:

– Бери, это от зайца.

– От какого зайца? – поинтересовался я.

– От дикого, – с серьёзным видом начал объяснять дедушка. – Сегодня рано утром встретили мы в поле зайца. Он сидит себе на меже и ест хлеб. Я попросил у него горбушку, а заяц спрашивает: «Зачем тебе?» Я говорю: «Иду в гости к внуку». Заяц подумал, подумал и отдал мне хлеб.

– Диду, а разве зайцы разговаривают по-человечьи?

– Зайцы – нет. А мы с ним не по-человечьи говорили, а по-заячьи.

– Хитрите вы, диду, – сказал я, догадываясь, что дедушка шутит. – Но хлебчик вкусный. Я давно такого не ел.

– Как вы добирались до нас? – спросила мама.

– А мы вышли из Молдаванки до восхода солнца, – объяснил дедушка, – и пошли не шляхом, а просёлками, через Старую Обрежу. Так ближе. К полудню были уже в городе.

– Тато, это же больше двадцати километров. И вы совсем не молоденькие. Какая нужда заставила вас с тёлкой идти в такую даль?

Дедушка с бабушкой хитро, как заговорщики, переглянулись, но сохраняли молчание.

– Вы что, тёлку привели на продажу? Да? – допытывалась мама.

– Пойдем, поближе посмотрим нашу красавицу, – вместо ответа предложила бабушка Кассандра.

«Красавица» паслась у забора, где нетронутая трава не сильно пожухла и была еще густой. Тёлка была необычного окраса: оранжево-бурые пятна на фоне чистой белой шёрстки

покрывали её стройный корпус. Маленькое, как и положено телушке, девственно розовое вымечко было покрыто белым пушком. Крепкие мосластые ноги опирались на аккуратные копытца. Голову её украшали небольшие рожки, а широченный лоб – большое белое пятно – звезда.

Тёлка была в самом деле красавицей. На людей она не обращала никакого внимания, спокойно пощипывала траву, время от времени отмахиваясь от мух и оводов крепким хвостом с метелочкой на конце.

- Ну, как вам наша тёлка? – спросила бабушка.
- Очень хорошая, – глубоко вздохнув, ответила мама.
- Как её зовут? – спросил я.
- Её зовут Флорика, что по-молдавски значит «цветочек».

Мало кто из городских соседей мог себе позволить держать корову или тёлку. Во время войны оккупанты, а потом и Красная Армия реквизируют большую часть лошадей и коров. После войны у большинства горожан доходы были совсем мизерные: большая часть предприятий не работала, заработков не было. А вот сельские, кормившиеся с земли, без скотины жить не могли. Не хватало промтоваров, люди ходили в рваньё, но скотом начали обзаводиться. Пока не началась засуха.

– Недавно, – объясняла бабушка, – мы водили Флорику к быку. Так что она своё отгуляла, и на будущий год после отёла станет настоящей коровой. И даст молочка.

- Да, – откликнулась мама. – Хорошая будет корова.
- Она снова вздохнула.

– Докия! – вступил в разговор дедушка. – Послушай, дочка, что скажу. Мы видим, как вы с Павлушей живете. Бедно вы тут, в городе, живете. Мы в селе тоже не богатеем, но, по крайней мере, пока не голодаем. Недавно скосили жито и пшеницу, – молотить нечего: колос пустой. Но надеемся на кукурузу, может, соберем ещё.

Дедушка задумался, помолчал немного, а потом сказал:

– Нам трудно, а вам тут еще труднее. Решили мы с матерью помочь тебе. Мы привели эту телицу на твой двор и отдаём её в твои руки. Тебе и нашему внуку.

- Как – мне? – изумилась мама. – А как же вы?
 - У нас остается Ружана, мать Флорики. Она добрая корова. Нам хватит.
- И тут моя мама не выдержала и, отвернувшись от всех, тихо заплакала.
- Дедушка, молча, обнял её и прижал к себе.

Потом все пошли в хату, и Флорику оставили в покое.

Я быстренько сбежал на соседнюю улицу и сказал дедушке Николаю о наших гостях из Молдаванки. Вскоре дедушка Николай, баба Маня и тётя Сеня были у нас.

Мама хлопотала на дворе у печки. Она сварила целый казан молодой картошки и чугунок мамалыги: родни собралось много. Всё это было выставлено на стол. Бабушка Кассандра тоже достала краюху хлеба, а баба Маня – кусок брынзы, и, помолясь, – без молитвы в нашей родове за стол не сажались, – всё большое семейство приступило к вечеру.

Потом пошли неторопливые разговоры о житье-бытье, под которые я уснул...

На следующее утро я проснулся рано и обнаружил, что кроме мамы в доме никого нет.

- А где дедушка и бабушка из Молдаванки?
- Они еще до свету собрались и ушли, – ответила мама.

– А Флорика?

– Флорика – в сених.

Я вышел в сени и увидел там нашу – теперь нашу! – красавицу телушку. Она величественно возлежала на полу, жевала свою жвачку и дружелюбно смотрела на меня большими карими глазами. Ни она, ни я еще не знали, что в ближайшие десять лет мы будем тесно связаны друг с другом.

Неожиданный приход к дочери и внуку дедушки Харлампия и бабушки Кассандры оказался последним: в конце 45-го они умерли от тифа.

А Флорика помогла их семье выжить во время страшной голодовки зимой 46–47 годов и после.

Ворона

Тяжелейшее положение сложилось зимой 1946–1947 годов в Молдавии... Сильнее всех в Бессарабии от голода пострадало сельское население Кишиневского, Бендерского, Кагульского, Бельцкого и Оргеевского уездов. К 10 декабря 1946 года в этих уездах 30 043 крестьянина являлись дистрофиками... Резко возросла смертность... В Кишиневе ежедневно на улицах подбирали по 8—10 умерших». «В январе – феврале 1947 года ежедневно от голода умирало 300–400 человек.
Из Википедии

1946–1947

Бельцы

Лето 46-го прошло в суматохе и напряжении: мы строили большой семейный дом – что-то вроде родовой усадьбы.

После демобилизации и возвращения домой отец, не снимая солдатской формы, с неделю ходил по разным конторам, потом вместе с дедушкой Николаем они разезжали куда-то на двуколке и, едва покончив с первоначальными хлопотами, мы начали переселение. В дедушкину телегу, запряженную старым Каштаком, загрузили самые необходимые домашние вещи: самодельные кровати, табуретки, постели, одежду, посуду, и мы с мамой вместе с нашей короной Флорикой двинулись в неведомый путь. Ехали долго, часа три. Миновали нашу магалу, центр города, добрались до моста через железную дорогу и въехали в пригород Пэмынтены. Еще через километра полтора мы прибыли на большой пустырь, который был выделен под нашу с дедушкой общую усадьбу. На новом месте нас встречали баба Василина, сестра бабы Мани, и её сыновья, молодые крепкие хлопцы Володя и Вася, а также бездомный сирота Саша, наш дальний родственник, которого я считал своим двоюродным братом. С недавних пор Саша жил у дедушки Николая и бабушки Марии, было ему лет тринадцать.

Парни уже неделю жили и работали на новом месте: они выкопали две просторные землянки, укрыли их накатами из досок, и сколотили «домик» в конце огорода – нужник. В одну из землянок мы начали стаскивать вещи.

В ближайшие дни таким же образом были перевезены со всем скарбом баба Маня и тётя Сеня. Из ближнего села Белеуцы прибыло ещё человек пять – подкрепление из родственников, – и началась ударная стройка. Надо было сначала сделать лампачи – кирпичи из самана. Для этого заводили большой саманный замес из глины, навоза и соломы, который долго месили все, кто мог. Затем в деревянные формы укладывали саманную массу, утрамбовывали и опрокидывали формы на сухом ровном месте. Подсохшие на солнце лампачи выкладывали в виде пирамид для окончательной просушки.

Потом шло строительство фундаментов, возведение стен из лампача, сооружение из камня печей и дымоходов. Самым трудным оказалось устройство потолков и кровли.

Наконец, в сентябре, большой, правда, неоштукатуренный дом был готов к заселению. Дедушка с бабушкой и тётей Сеней заселились в своей половине; у них же какое-то время жили и бабушка Василина с сыновьями и Саша. Наша семья заняла свою часть дома.

Пока шла стройка мы с Сашей обязаны были пасти Флорику, которая давно уж из красивой телушки превратилась во взрослую корову. Лето было необычайно жарким и сухим: ни капли дождя, и на обычных пастбищах трава давно выгорела до черноты. Вся земля покрылась глубокими трещинами. Мы шли с нашей короной далеко по рышканскому шляху на дедушкино поле, где был небольшой, с гектар, перелог: там еще не всё высохло. У дедушки был посеян клин подсолнечника, который полностью высох, убирать было нечего – одни сухие палки; был также клин ржи, чуть поднявшейся от земли, с высохшими былинками и пустым колосом;

было ещё немного свеклы и картофеля и большой клин кукурузы. Небольшая надежда была на кукурузу, всё остальное медленно погибало под убийственными лучами яростного солнца. По вечерам на поле раза два в неделю на телеге приезжали ненадолго дедушка с отцом и женщинами. Ведро и кастрюлями они таскали воду из текущей неподалеку сильно обмелевшей речки Рэут и поливали то, что еще было живым. Но спасти удалось немного.

По утрам и вечерам всё наше большое семейство собиралось за общим столом. Так было заведено с первых дней. Но уже в середине лета, когда закончились прошлогодние запасы, мы садились за стол только один раз, вечером, перед заходом солнца и ели мамалыгу с картошкой, запивая кипятком, настоящим на вишневых ветках и листьях, – такой был чай. Еще доилась Флорика, и по утрам все получали по стакану молока. Но с каждым днем было хуже и скуднее.

Осенью большинство трудоспособных пошли работать: отец и Володя с Васей устроились на маслозавод и каждый стал приносить домой в потайных карманах и мешочках куски макуха (подсолнечного жмыха), бабка Василина устроилась в Заготзерно и тоже припрятывала жменью-другую кукурузного или пшеничного зерна. Воровали, конечно, – а что делать? Моя мать с горбуньей тётёй Сеней ездили поездом на Украину, работали там у каких-то людей и привозили немного ржи или пшеницы. У нас были свои ручные жорна – два мельничных каменных круга, хорошо подогнанных один к другому, – на которых мы с Сашей мололи зерно.

Осенью было убрано дедушкино поле. Собрали четыре мешка кукурузных початков; будылья и всё остальное было предназначено для корма Флорики.

Худо-бедно, но какая-то еда в нашей большой семье пока была. Конечно, черная, как деготь, ложка каши из макухи, которую всё чаще приходилось есть, была невкусной, но она спасала от голода. Кроме того, мы с Сашей пристрастились бродить по садам селекционной станции – осенью там охраны не было. Среди опавших листьев мы находили иногда орехи, червивые яблоки, которые тут же поедали. В ход шли даже длинные стручки дикой акации: мы разрывали стручки и выгрызали клейкую кислую массу. В старых вишневых садах на стволах деревьев выступал сок в виде клея, который тоже считался съедобным.

Поэтому никто из нашего дома не болел ни от цинги, ни от дистрофии. Мы были вечно голодные, но ходячие. Пока.

Однако с наступлением зимы картина стала резко меняться. Всё чаще взрослые приносили в дом слухи о том, что в соседних селах Стрымба, Пеления, Пырлица, Реуцел и других люди после сдачи госпоставок остались без хлеба, пухнут от голода и вымирают целыми семьями. В одной деревне был даже случай людоедства.

В городе такого пока не было.

Однажды мы с отцом решили сходить на толчок. Собрались до свету и пошли вниз по улице Артема. Пройдя с полпути, мы увидели в темноте большой сверток, который лежал на брусчатке. Вблизи сверток оказался мертвым человеком. Мы прошли ещё немного и увидели на дороге ещё два мертвых тела. Лица у мертвецов были черные с проваленными глазами, небритой растительностью и оскаленными ртами.

– Это от голода, – сказал отец. Он-то за войну всякого навиделся, а мне эти мертвецы потом снились несколько ночей.

Мы прошли мост и свернули вправо. Здесь у железнодорожных путей валялись трофейная пушка, танкетка желтого цвета и располагался небольшой пяточок, по которому бродили туда-сюда сотни три плохо одетых мужчин и женщин, – толчок. Некоторые продавали в мисочках нечто, похожее на серый речной песок, которое называлось «жомом», было привезено откуда-то с Украины и считалось съедобным. В мисочках же продавалось зерно пшеницы и кукурузы, – цены были сумасшедшие. Человека два из-под полы продавали черный, как сажа, хлеб: за полбуханки просили 150 рублей.

– Это почти моя месячная зарплата вальцовщика, – говорил отец.

Так мы ничего и не купили.

– Давай сходим к вокзалу, – предложил отец. – Там есть ларек, где продают пирожки с мясом.

Вокзал был рядом, и ларёк мы нашли, но он оказался закрытым. Тут же подошедшая толстая тётка пояснила, что продавцов ларька, мужа и жену, посадили: кто-то обнаружил в пирожках человеческие ногти.

* * *

В полукилометре от нашего дома, за пустырями, находилось одно из городских кладбищ. Еще весной большинство усопших хоронили по обычаю в сопровождении попов. Услышав «Господи, помилуй!», местная пацанва тут же присоединялась к процессии в надежде на то, что на кладбище после обряда прощания сердобольные тётеньки будут раздавать – каждому в протянутую ладошку – по чайной ложке сладкого колева (пшеничной кутьи). Однако с лета таких процессий больше не было. Всё чаще некрашенные гробы везли на простых телегах в сопровождении немногих скорбящих родственников.

С наступлением холодов всё изменилось. Обычные похороны стали редкостью. Зато каждый день по два, три раза по улице провозили на телегах тела мертвецов. Обычно в кузове повозки помещалось 3–4 трупа.

Мы с Сашей решили проводить один из таких обозов. Две повозки с мертвецами следовали к краю кладбища. Возницы время от времени понукали тощих понурых лошадей. Трупы пассажиров, тихо лежащие в коробах тележных кузовов, на ухабах подбрасывало, они подскакивали и желтые пятки стучались одна об другую, издавая странные тупые звуки.

Наконец, приехали к месту, где была вырыта неглубокая, но очень широкая яма. Вокруг ямы стояло четверо худых мужиков, одетых в лохмотья; в руках у них были лопаты, а рядом лежали кирки и ломы. Первая повозка подъехала со своим грузом прямо к яме. Двое мужиков подошли к повозке и резко выдернули боковую доску. Двое других и возница ухватились за колеса и под крик «Взяли!» опрокинули телегу с трупами, и те полетели в яму так же компактно, как ехали. Точно так же разгрузили вторую телегу. Трупы в яму ложились всё же неровно, и туда пришлось прыгать одному из мужиков и ногами утаптывать их. Иногда поднималась вверх мёртвая рука или нога, и мужик остервенело втаптывал их обратно. Потом лопатами они бросали в ямы известь и еще какой-то вонючий белый порошок и так всё оставляли до следующего приезда повозок.

Эти могилы потом стали называть «братскими», но все они были безымянными. И было их несколько.

* * *

Всё время хотелось есть. С наступлением январских холодов даже ворованный макух стал малодоступным лакомством. Я готов был грызть кору деревьев – лишь бы что-то грызть. Но кора белой акации была очень горькой, кора вишни – очень сухой и вязкой, кора яблони – терпкой и лишь кору молодых веток тополя можно было жевать: она была сладковатой и после долгого жевания казалась съедобной, но в нашей магале тополей было мало.

Пробовали есть жом, предназначенный для Флорики. С осени – уж не знаю, по какому благу – отец привез с сахарного завода машину жома (свекловичных выжимок), который хранился и перебраживал в яме. Но жом оказался сильно вонючим и несъедобным.

Мы с Сашей, как и раньше, бродили по заснеженным казенным садам, надеясь найти что-нибудь съестное. И у моего брата, и меня были рогатки, а в карманах полно камешков для стрельбы. Иногда мы соревновались и, как правило, побеждал Саша: он стрелял лучше.

Живых мишеней было немного: по воробьям стрелять не имело смысла, голуби куда-то пропали, вороны и те попадались редко.

Но нам всё-таки повезло. Мы увидели на ветке старой яблони ворону. Она взмахивала крыльями и время от времени каркала, видимо, переговариваясь с подругой, которая сидела на другом дереве. Саша прицелился и выстрелил. К нашему удивлению, ворона камнем полетела на землю. Мы схватили добычу и побежали домой.

Баба Маня, увидев нас с вороной, закричала:

– Зачем вы убили птицу?

– Хотим есть, – сказал я.

– Ворон никто не ест.

– А мы будем.

Пришлось бабушке возиться с вороной: ошпаривать в кипятке, ощипывать, варить. На всё ушло часа три.

После варки мясо старой птицы стало розовато-серым, а когда мы с братом попробовали, оказалось приторно-сладким и несъедобным. Но – голод не тётка – есть очень хотелось, и мы сначала съели всё, что казалось мясом, а потом сжевали и кости. Ничего не осталось. Всё съели.

Был конец января. Ещё только – января!

Самые голодные месяцы были впереди. До появления зелени крапивы, щавеля, лебеды, из которых можно было что-то сварить, оставалось больше двух месяцев.

Тато

1946

Бельцы

Первые полвека моей жизни, пока был жив отец, мы с ним пытались найти какие-то точки соприкосновения. И он, и я много раз пытались превратить наши отношения из прохладно-безразличных, каковыми они стали со времен моего детства, в теплые. Когда я стал взрослеть, особенно, в годы студенчества, отец иногда помогал мне деньгами, потом, когда я перебрался в Сибирь, он почти ежегодно, а иногда и дважды за год приезжал ко мне, навьюченный бараньей тушей, брынзой и молдавским вином. Он тогда работал на винзаводе проводником вагонов и возил вино во многие места Союза. Жил он у нас в гостях обычно три-четыре дня, гулял с внуками, рассказывал им молдавские сказки. По вечерам все мы собирались за столом и по-хорошему общались. Казалось, между нами устанавливаются теплые родственные связи. Однако отец уезжал, и связи прерывались до следующей встречи. Какое-то время меня это беспокоило, тревожило, я видел, что и отцу тоже не по себе. Постепенно пришло понимание, что вряд ли можно что-то изменить.

Но почему, думал я? Почему однажды, давным-давно, случайно оборванные кровные связи не удастся снова скрепить? Или склеить, склепать, сварить? Почему?

Да, в детстве я был себе на уме. Были случаи, когда я грубил отцу, проявлял непослушание. Было кое-что и похуже. Но так ли уж был я в том виноват?

Долго ломал я над всем этим голову, но так ни к чему и не смог прийти.

К проблемам взаимоотношений людей у меня, как педагога, всегда был особый интерес. Недавно я наткнулся на любопытную книгу психолога Стэнли Милгрэма «Подчинение авторитету». Ученый рассказывал об уникальных экспериментах, в которых участвовали сотни людей разных возрастов, образованных и малограмотных, правоверных христиан и атеистов, белых и цветных в разных населенных пунктах. Цель исследования была простая: изучить, насколько послушными могут быть люди, попав под влияние авторитетов. Результаты ошеломили не только самого Милгрэма, но весь научный мир: оказалось, что люди, как правило, безропотно подчиняются авторитетным лицам и выполняют любые их указания.

Всё дело в том, считает Милгрэм, что мы рождаемся с потенциалом к подчинению, который затем способствует формированию послушания. Как выяснилось, послушание является одним из главных инструментов воспитания человека.

Размышляя над открытиями Стэнли Милграма, я подумал: а ведь родители и педагоги постоянно берут на себя роли авторитетов и стремятся добиться от детей неких воспитательных результатов именно через послушание. Хорошо ли это?

Если цели авторитетов гуманные, то, нет сомнения, хорошо. А если авторитеты – жестокосердные фашисты или матерые садисты?

Попутно возникает еще одна проблема: как быть с непослушными ребятами, с теми, кто не признает авторитет взрослых? Ломать их? Требовать подчинения? Но ведь среди непослушных – много способных и одаренных. Как быть с ними?

В книге Милгрэма упомянуто, что в ходе исследований в Йельском университете было обнаружено, что не все испытуемые подчинялись авторитетам. Случались исключения. Изредка попадались и неподчиняющиеся. Непослушные!

Психолог считал, что непослушных не нужно ломать. Не следует на них давить. Просто надо помогать им находить свои пути. Обществу, как известно, нужны не только послушные исполнительные роботы, но и критически, и нестандартно мыслящие личности. Послушание

– качество важное и нужное, но также важен, а в экстремальных ситуациях крайне необходим
– критический взгляд на происходящее.

Я стал вспоминать, каким был я. Конечно, хотелось видеть себя в хорошем свете. Но бывало всякое. И был я скорее, непослушным, чем послушным. С ранних детских лет. Ничему не верил на слово и всё докапывался, надоедая взрослым: «Зачем это? Почему так, а не иначе? Что будет, если?..» Временами мама, бабушка Николай и, особенно, баба Маня изнемогали от моей надоедливой любознательности, но не раздражались, а терпеливо растолковывали, как могли: почему луна то круглая, как блин, то маленькая, как серпик, почему зимой идет снег, а не дождь, почему маленькая кошка Мурка не боится большого кобеля Бобика, а он ее боится, почему Бог не наказал тех жандармов, которые хотели обидеть мою маму, что будет, если спрятаться от Бога в подвал, где бабушка хранит вкусное повидло из айвы, и съесть немножко, совсем чуть-чуть, – Бог узнает, что я согрешил или нет? Я был единственным ребенком в нашей большой семье, и мне не только прощали приставучесть, но и многие шалости и непослушание. Считалось, что я «хлопец с разумом». Сам себе паровоз. Мои родные любили меня, и, наверно, поэтому мне сходило с рук все: и упертость, и своеволие, и несвойственная детям критичность, и свобода действий. Меня постоянно поощряли к самостоятельности. Что бы я ни говорил, что бы ни вытворял, всё истолковывалось в мою пользу: «Это проделки Павлуши. Ничего страшного». Запретов не было. Все запретное я определял сам либо путем проб и ошибок, либо задавая окружающим бесчисленные вопросы. В те молочные годы меня никто никогда ни разу не только не бил, но даже не шлепнул, никто ни разу не повысил на меня голос.

Я был общим любимчиком, центром внимания нашей родни и считал, что мир вокруг существует для меня. Весь ближний мир – для меня. Несмотря на войну, разруху, бедность, иногда и нищету, болезни, этот мир был моим, служил мне. Я был беззаботным, ни в чем не ограниченным, безгранично свободным. Абсолютным эгоистом. Никогда в последующие зрелые годы я не чувствовал себя так вольно и легко, как в те первые детские годы.

Но однажды эта вольница неожиданно кончилась. Мне было уже шесть лет, как вдруг произошло нечто ужасное, о чем я сожалел потом всю оставшуюся жизнь: случилось так, что я поднял руку на родного отца – тато.

Однако обо всем по порядку.

Его мы ждали с войны в 45-м, но он еще служил в комендатуре Берлина и вернулся домой в Бессарабию только в конце весны 46-го.

Мы с Мусей сидели в тенечке на единственном в нашем дворе дереве шелковицы, когда к калитке подошел какой-то дядька в красноармейской фуражке и солдатской форме с небольшим заплечным мешком. Дядька смело вошел в наш двор, перед порогом потоптался, пошоркал сапогами о лежащую тряпку и вошел в дом. Нас на дереве, скрытых густой листвой, дядька не видел.

– Кто это? – тихо спросила Муся.

– Не знаю, – ответил я. – Пойду в хату, посмотрю.

Мы спустились с дерева, и я пошел смотреть.

Вошел в сени и, скрипнув дверью, в касе маре (горницу), увидел удивительную картину: моя мама стояла, прижавшись к гимнастерке солдата, и обнимала его. Мама была совсем маленькая, а солдат ростом почти до потолка. Он гладил ее по голове, которая находилась на уровне его живота. Услышав скрип, мама подняла голову.

– Сынок! Павлуша! – позвала она. Глаза у нее были заплаканные.

Я стоял, не понимая, что происходит.

– Йиды сюда.

Я подошел.

– Твуй батько вернувся з війни. Твуй тато.

Оказывається, это был мой отец. Вот он, оказывається, какой, подумал я. Когда в 41-м его брали в армию, я был еще грудным ребенком, а потом долгие пять лет не видел его.

– Який гарний хлопчик, – были первые слова большого дядьки-солдата, которого мама назвала моим татом. – Хлопчик с золотою головкою.

Так он звал меня в немногих своих письмах с фронта.

Широко улыбаясь, он схватил меня за руки и, высоко подняв, вдруг подбросил. Но, видать, не рассчитал, потому что я треснулся головой об потолок, да так, что посыпалась известка. Солдат тут же отпустил меня с рук.

– Чего ты? – сердито сказал я, почесывая голову. – Чего бросаешься?

Меня до этого никто не подбрасывал. Мне это совсем не понравилось. А солдат продолжал улыбаться: он же радовался встрече с родным домом, родными людьми. Но все же с удивлением сказал:

– Ты дывы, який сердытый.

Потом втроем мы пошли к дедушке с бабушкой, дом которых был на соседней улице. Были слезы радости. Отец роздал трофейные подарки: женщинам шелковые хустки, дедушке Николаю очки в пластмассовой коробочке, мне четыре алюминиевых колесика (из которых потом смастерили игрушечный возок). Себе тато оставил шевиотовый гражданский костюм, сшитый на заказ в Берлине, и две шелковых сорочки. Было еще в солдатском мешке три столовых ложки с немецкими буквами. Вот и все трофеи.

В последующие дни мы виделись с отцом только по вечерам. Вместе с бабушкой он разъезжал на двуколке по разным конторам, оформлял бумаги на участок под строительство нового дома и на получение за городом земельного надела.

Днем мы оставались с матерью, и всё было, как раньше: я помогал ей кормить курочек, поросенка, мы ходили по воду к колодцу тети Марицы. Там лежала выдолбленная из камня бадья для поения скота. В жаркие дни к бадье слеталось много ос, которые, подрагивая своими полосатыми брюшками, жужжали и пили воду. Когда я был совсем маленьким, то, не понимая, хватал руками жужжащих красавиц, и они больно жалили. Я громко ревел, мама вытирала мои обильные слезы и успокаивала. Потом я брал свое маленькое ведро, мама – большие ведра с холоднющей водой, и мы шли домой. Когда приходили мой дружок Иван Бурдужан и Муся, мы шли на речку, купались или играли во дворе до тех пор, пока не звала мама:

– Диты! Ваня, Муся, Павлик! Обидаты! Исты!

Мама нарезала суровой ниткой каждому по шмату горячей мамалыги, мы садились за дощатый стол и ели деревянными ложками борщ или суп из одной миски.

Мама хорошо понимала нас, меня и моих друзей. Нам было хорошо вместе с ней.

Но когда вечером приходил домой усталый тато, мать становилась другой. Огромный отец заполнял собою всё пространство нашего тесного жилища и требовал к себе внимания. Мать почему-то начинала суетиться, робко заискивать, что-то от волнения роняла на пол, а однажды, достав из печи горшок с томленными галушками, уронила его на колени отца.

– Ты шо? – закричал он, отряхиваясь. – Крушшы мэти!³

– Прости, Васенька! – запричитала мать. – Я не хотела...

– Не хотела?! Срау бы са пэс! – Отец злобно скрипнул зубами и выскочил вон из каба маре.

³ Молдавское ругательство.

Я понимал, что тато чем-то недоволен, а мать боится его и не знает, как угодить. Начиная я понимать и то, что моей свободе приходит конец, и в ближайшее время что-то должно измениться.

В его присутствии мать больше ни разу не называла меня привычными ласковыми именами, а только строго: «Павло».

А отец вообще не называл меня по имени и больше не вспоминал, что я «хлопчик с золотой головкой». Изредка он покрикивал: «Мэй, ты!» Но на уничижительные окрики я не откликался. Однажды он увидел, что я провожу время в обществе Муси, и придумал для меня прозвище: «Жених». А поскольку я был сильно конопатый – лоб, нос, щеки и даже руки были обсыпаны веснушками, – он стал насмешливо звать меня: «Рябый. Рябый жених». Так и повелось. Когда я приходил с улицы, отец вместо приветствия, спрашивал: «Где тебя носило, рябый?» Я молчал. Не отвечал, и моя упертость злила его еще больше.

По воскресеньям мы всей семьей шли в церковь, потом на нижний базар. К обеду собирались у дедушки с бабушкой. Там всегда было хорошо. Помолясь, усаживались за большой стол, накрытый белой скатертью. Баба Маня с тетей Сеней подавали горячую мамалыгу, и дедушка Николай, как старший, разрезал ее на скибы. Потом на тарелки накладывались ломти овечьей брынзы, квашенина – огурцы, помидоры, бывало и квашеный арбуз или фаршированные перчики, – и из печки доставалась большая кастрюля со свининой, тушеной с картошкой и специями. Каждому еда накладывалась в отдельные миски. На десерт подавали бабку, домашнюю лапшу, запеченную с вялеными сливами, абрикосами, яблоками, и чай. Чай был без сахара.

Во время обеда разговаривали мало, а после чая дедушка начинал расспрашивать отца про военную службу. Спрашивал про командиров, однополчан и про то, в каких местах тому доводилось воевать. Отец рассказывал неохотно, и разговор о войне сам собой угасал. Эта тема больше не поднималась, и внимание переключалось на меня. Дедушка вспоминал, как мы с ним прошлым летом жили, дневали и ночевали, в халабуде на гарбузарии (бахче), и сколько страхов натерпелись из-за разных непрошенных гостей. Баба Маня, тоже стала рассказывать, как осенью мы с ней заготавливали грецкие орехи, как я лазил по огромным деревьям и ловко палкой сбивал орехи. Она кричала снизу: «Равлик-Павлик, хватит! Слезай!», а я вроде бы отвечал: «Хоть я и Павлик, но не равлик (улитка). Я еще побью». Мы с бабуней тогда набили целый мешок орехов.

В дедушкином доме меня всегда любили. По-прежнему здесь я был персоной номер один. Отец хмурился, он был, конечно, родным сыном дедушки и бабушки, и его тоже любили, но было заметно, что не так – как меня. Может быть, он ревновал меня? На людях он не показывал своего раздражения и был ровен в разговоре. Но дома, в присутствии матери его настроение становилось неустойчивым. То он преувеличенно любезно говорил ей, какой Павлик «правильный» (правда, «дуже веснянкуватый») и какая она красавица, ну прямо «квитка польова», то вдруг неизвестно от чего мрачнел, становился раздражительным и обзывал ее и меня непотребными словами. Бывало и того хуже: он начинал быстро ходить по дому, громко топая сапогами по земляному полу и заполняя своей фигурой все пространство. Лицо его наливалось кровью, глаза стекленели, делались безумными и из оскаленного рта вырывались хриплые ругательства: «Мать-перемать! Кругом одна сволота! Курвота продажная! Срау бы са пэс!» Кого он ругал, то ли нас, родных, то ли посторонних врагов, понять было трудно. Срывы были редкими и совершенно непредсказуемыми. В такие моменты лучше было ему не перечить, и мы с матерью от греха подальше, выбегали во двор и тихо сидели на призьбе, прижавшись друг к другу и дрожа от страха, пока шум в доме не стихал. После этого мать долго плакала и говорила, что вся беда от того, что тато сильно контузило на войне.

Шло время, но состояние страха не покидало нас с матерью, а между мною и отцом нарастало отчуждение, причины которого я не мог понять. Зная, что он контуженный, я изо всех

сил пытался не раздражать его, но он при виде меня, сам заводился, почему-то сразу мрачнел и пускал в ход свои оскорбительные прозвища. Чего он злобствовал, было непонятно.

Однажды ночью, проснувшись, я нечаянно подслушал разговор отца с матерью.

«Докия, почему он такой рябый?» – спрашивал отец. Я понял, что разговор шел обо мне.

«Ты же знаешь, Васылю, в детстве у многих – веснушки, не только у нашего», – тихо отвечала мать.

«Но в нашей родове не было ни одного веснянкуватого».

«Зато среди моих таких дуже багато».

«Обличчем он совсем поганый и не похож ни на тебя, ни на меня...»

«Он похож на мого батьку: такой же низенький ростом и с большой головой. До старости мой тато тоже был конопатый».

«Да, я помню его». – В то время маминого отца, дедушки Харлампия, уже не было в живых.

Может, думал я, он считает, что я не родной его сын. Может, и в самом деле он не родной мне отец. Мы с ним совсем не похожи друг на друга.

Я не знал, что мне делать и как себя вести.

Единственное, что оставалось – ждать и надеяться, что всё образуется. Казалось, со временем всё должно само собой устроиться.

Нам бы всем радоваться надо тому, что закончилась, наконец, страшная война, что мой отец, солдат, дважды раненый и дважды сильно контуженный, один из немногих, кому повезло выжить, вернулся домой. Мы, родные, должны были денно и нощно стоять на коленях и благодарить за него Всевышнего. Отцу было тогда всего 30 лет, и внешне был он – черноволосый, кучерявый, пригожий лицом, статный и могучий. Когда шел по улице, многие засматривались – красавец! У большинства моих приятелей отцов вовсе не было, а мне повезло. Но с самого начала наши с ним отношения не заладились и с каждым днем становились хуже и хуже. Я понимал, что нужно быть послушным, иначе нельзя, но унижений от отца терпеть не мог. Он же, видя мою неподатливость, пытался силой подмять меня. Я стал избегать его, хотя это плохо удавалось, потому что мы жили в одном ветхом домике и по бедности ели из одной миски.

В тот злополучный вечер мы с Иваном сидели на призьбе и мастерили змея. К куску пергаментной бумаги, которую принес мой друг, нитками мы привязали тонкие лучинки из стуга (тростника). Оставалось из тряпок сделать хвост. Моток суровых ниток был припасен заранее.

Солнце висело над самым горизонтом. Было тепло. Откуда-то наносило терпкий запах отцветающей сирени и сладкий аромат гроздьев белой акации. Над густой травой и зеленью в нашем огорожке – ядреной картофельной и морковной ботвой, остролистыми перьями лука и чеснока, несмелыми побегамии фасоли и бобов – летали, посверкивая медными крылышками и издавая низкий машинный звук, медлительные как бомбовозы хрущи. Мелькали стремительные ласточки, которые охотились за жуками. Гнездо ласточек лепилось прямо под стрехой нашего домика, и там уже кто-то попискивал.

– Слушай, – сказал Иван, – ведь хвост можно сделать из веревки.

– Точно.

Я пошел к сараю, нашел среди старого барахла кусок веревки, и мы стали мастерить хвост. Мы так увлеклись, что не заметили, как появился отец. Он молча прошел мимо нас с Иваном. Не замечая. Будто нас и не было. Был он какой-то странный: шел подчеркнута прямолинейно, не поворачивая головы. Может, был выпивши? Не знаю.

Нам с Иваном не удалось доделать змея, потому что вскоре мать позвала:

– Павло, вечеряти!

Когда я вошел в каса маре, то сразу понял: что-то не так. Обстановка была накалена. Родители о чем-то громко спорили, но при моем появлении резко замолкли. Отец сидел на лавке за столом, лицо его было налито свекольной краснотой, а отрешенный диковатый взгляд был устремлен в окно. Он явно был на грани срыва. Мать возилась у печки.

– Сидай з батьком! – велела она мне.

Я сел на свое обычное место на лавке, рядом с отцом.

Мать налила щей в нашу большую семейную миску и поставила на стол, потом на белый рушник вывалила из чугуна мамалыгу и подала ложки, те самые, трофейные. Ложки были больших размеров, но самая большая, настоящий черпак, досталась мне.

Отец зачерпнул из миски, попробовал варево и вдруг лицо его перекошило:

– Ты шо насыпала, стэрва? – заорал он. – Я шо, свиня, чи шо?

– Вася, успокойся! – начала было урезонивать его мать.

Но того уже забрало и понесло.

– Курва! Тварь продажная! Как обращаешься с фронтовиком? – злобно кричал батько.

– Что ты такое говоришь? Остынь.

– Не-е-ет, правду люди говорят...

– Что тебе наговорили твои люди?

– Всякое наговорили... Срау бы са пэс!

Отец замолчал, но вдруг, все более озлобляясь, выкрикнул то, о чем в нашей семье (тем более, в моем присутствии) говорить было не принято:

– Пока мы на фронте били фашистов, вы... вы... Вы тут блядовали с румынами.

Обвинение было настолько диким, что мать, всплеснув руками, замерла как соляной столб и ни жива, ни мертва, еле вымолвила одеревеневшим языком:

– Что ты такое говоришь, Вася? Побойся Бога.

– Так и было. Все вы курвы, твари продажные.

– Это неправда! – заплакала мать. – Я чиста перед тобою и перед Богом.

– Твой Бог больше не будет защищать тебя...

– Я ни в чем не виновата.

– Бреешь, я всё знаю...

И вдруг он произнес слово, которое в нашем доме считалось страшным ругательством:

– Проститутка!

– Не-е-ет!

– Ты румынская проститутка!

– Не-е-е-е-ет! – страшным голосом закричала моя мать.

– Ку-у-урва-а-а! – подстегнутый ее отчаянным криком, он неожиданно схватил первое попавшееся, что было под рукой, свою ложку, и резко бросил ее в голову жены. Тяжелая ложка, задев шею жертвы, шмякнулась о стенку. Мать с перепугу села на пол.

Отец был невменяем. Приступ его злобы не утихал. Он распался все больше и больше.

Все происходило на моих глазах, и все было ужасно. Смотреть на это молча, было нестерпимо.

– Ты за что бьешь мою мамку? – крикнул я, преодолевая страх, от которого в животе у меня похолодело. – Она не виновата!

– Молчать!.. Засранец!.. Байструк рябий!.. – Он повернул ко мне свое разъяренное лицо. Взгляд его был безумный, рот изуродован свирепым оскалом.левой рукой он попытался схватить меня за горло.

И тогда я взял первое, что попало, свою увесистую ложку-черпак с немецкими буквами и ударил его по голове. Он отпрянул, и на его потном лбу мгновенно выросла красная гуля величиной с грецкий орех. Секунду или две он ошарашено, видимо, не понимая, что произошло, смотрел на меня, потом по-звериному зарычал и поймал меня за уши...

Что было потом, я не помню. Мама рассказывала, что батько рвал мои уши с такой силой, что кровь текла из раковин. Как он меня не убил, как матери удалось меня спасти, я так до конца не узнал.

1946–1955

Бельцы

Удивительное дело. Некоторое время после этого происшествия, несмотря на случившиеся иногда приступы необъяснимой ярости, они с матерью жили относительно мирно. Он не попрекал ее и не бил, хотя размолвки между ними были частыми. Но когда однажды много лет спустя снова разгорелся скандал и возникла угроза рукоприкладства, я вынужден был вмешаться. Мне было тогда уже лет пятнадцать. Услышав отцовы угрозы и истошные крики матери, я выскочил на кухню, к месту боевых действий. Он снова был невменяем, или хотел казаться таким, и, изрыгая матерные ругательства, крепко держал свою голосащую жену за волосы.

Думать было некогда. Я схватил его за грудки, изо всех сил сжимая пальцы, и глядя снизу вверх в его бешеные глаза, произнес как можно спокойнее, внятно и членораздельно:

– Если ты еще раз тронешь мою мать... я сделаю из тебя котлету.

Батько возвышался надо мною на целую голову, но он сразу обмяк, видно, поняв, что сынок не шутит.

Больше в моем присутствии он мать не бил. Меня тоже до конца своей жизни он пальцем не тронул. Правда, полного согласия и взаимопонимания между нами так и не возникло. Не было и дружбы, хотя мы постоянно общались, помогали друг другу материально и денежно, даже тогда, когда отец развелся с матерью и завел другую семью. Мы мирно сосуществовали.

1991

Бельцы

Последний раз, когда мы виделись с отцом, он сильно болел. После операции на мочевом пузыре он лежал – ходить уже не мог – с привязанной к ноге бутылкой, в которую по трубочке отводилась моча. Он сильно ослабел и похудел, от его могучего организма не осталось и половины.

На прощанье тато сказал:

– Навэрно, бильше мы нэ побачимся.

Так и вышло.

Когда сегодня я вспоминаю о событиях давно минувших дней, становится не по себе от того, что так нелепо складывались мои отношения с отцом. С родным татом! Который должен был быть для меня несомненным авторитетом. Но, увы!..

Школа

1947–1948

Бельцы

Начальная школа, в которой мне предстояло учиться, располагалась примерно в полутора километрах от нашего дома на углу тихой улицы Осипенко и шумного проспекта Артёма, по которому, громыхая на булыжниках, ехали каруцы, редкие автомобили, спешили на службу в центр принаряженные дамочки и мужчины в гимнастерках, торопились в торговые точки озабоченные пожилые евреи, рабочие в промасленных спецовках группами и поодиночке шли на маслозавод, железнодорожную станцию и на большой завод за высокими стенами из котельца с пущенной поверху колючей проволокой. Завод называли «ящиком» и выпускал он что-то военное. Что именно – никто не знал.

Школа располагалась в одноэтажном сером доме.

Напротив находилась керосиновая лавка, хорошо мне знакомая. Несколько раз мать отправляла меня в эту лавку. Я выстаивал в вонючем помещении очередь и протягивал продавцу свою металлическую банку. Пожилой дядька в клеенчатом фартуке, продавец, надсадно дыша – у него, наверное, была астма, – свирепо сверкая стеклянным глазом, спрашивал сиплю: «Сколку литра?» «Три», – тихо отвечал я, со страхом глядя на его железный черпак с длинной ручкой.

Дядька зачерпывал этим сосудом из бочки синеватую с перламутровыми разводами жидкость и заливал в мою банку. Я протягивал мятый рубль, получал сдачу и, обливаясь потом, тащился домой...

К школе мне справили штаны из дедушкиных перелицованных брюк и рубашку из маминной юбки. Это всё сшила тетка Сеня. Дедушка Николай выкроил из старой коровьей шкуры два куска, дратвой схватил их в нужных местах, и получились маленькие лапти с заостренными носами – постолы. Мама из мешковины сшила торбу, в которую положила четыре тетрадки и карандаш, купленные за большие деньги на барахолке. В таком снаряжении первого сентября отец повел меня в первый класс.

Был теплый немного пасмурный день. Мы пришли рано, но оказалось, во дворе школы уже полно народу. Притихшие дети, держась за руки родителей, стояли в очередях на запись в две колонны. Отец уточнил: «Дэ тут пэрвачи?» И мы встали в очередь к строгой пожилой даме, которая сидела за некрашеным фанерным столом. Другой ряд двигался к фанерному столу, за которым сидел седой старик. Он записывал в третьи и четвертые классы. Когда подошла наша очередь, отец, стараясь выговаривать слова почище, по-русски, обратился к даме:

– Жэнчина! Прощу вас, запышит мого хлопця ув перший клас.

Суровая дама поправила отца: «Не хлопця, а мальчика» и сказала, что её зовут Анна Яковлевна и именно она является учительницей первого и второго классов. Макая ручку в фарфоровую чернильницу, учительница спросила моё имя и фамилию, не торопясь записала всё, что надо и сказала:

– Павел Крёстный, ты пока постой здесь, рядом со мной. Скоро вместе с другими ребятами я поведу тебя в класс. А вы, папаша, можете идти домой.

Отец попрощался и быстро ушел. Больше, в течение последующих десяти лет моей учебы, ни он, ни кто другой из моих родных в школе никогда не бывал.

Сразу за входной дверью школы слева располагалась маленькая конура, в которой сидела толстая тётка – она была и дежурной, и уборщицей, и сторожихой. Напротив – небольшой кабинет заведующего, дальше – просторный вестибюль, из которого можно было попасть в

две классные комнаты. В одну из них привела толпу ребятишек наша учительница Анна Яковлевна.

– Все, кто записался в первый класс, садятся на первый и второй ряды парт, – объявила она. – Второй класс садится на третий и четвертый ряды.

Парты были длинные, выкрашенные в блестящий черный цвет, за каждой уселось по четверо-пятеро учеников. Первоклассников набралось десятка два, второклассников – немного меньше. В следующие дни подошли еще человек десять, так что сводный класс получился большой. Таких, как я, семи— и восьмилетних было немного. Мы быстро перезнакомились, поскольку были из одной магалы: Мындреску Ваня, Цанга Люба, Фишман Харик, Фихман Юлик. Позднее я подружился с Ваней Салом, который был на четыре года старше меня. Большинство ребят были переростки, особенно пришедшие с улиц Пограничной и Нижней, возле речки, и из Цыгании. Некоторым было по 13–14 лет. Была одна очень красивая девочка, цыганка Галя Гусакова, судя по зрелым формам, лет, наверное, пятнадцати. (Позднее, едва научившись читать и писать, она вышла замуж, так и не кончив первого класса.)

Учительница спросила, кто умеет читать? Подняли руки Фишман и я.

Кто умеет считать до ста? Подняли руки те же, немного колеблясь, – ещё и Фихман.

– Хорошо, – похвалила Анна Яковлевна. – Остальных я научу.

Она показала всем букварь, но выяснилось, что такой книжки ни у кого нет, да и других учебников тоже. Учительница удивилась, огорчилась, но делать было нечего:

– Что ж, будем учиться без букваря.

И мы начали учиться писать палочки в тетрадах в косую линейку...

Первый день в школе прошел удачно. Всё было ново, интересно, кроме того, учительница меня похвалила, и, счастливый, с новыми знакомыми я шёл домой. Однако новая – ученическая – жизнь таила неожиданности, в том числе и неприятные.

Первая беда со мной случилась ровно через неделю. Каждый день было по три-четыре урока, между ними короткие перемены, во время которых все выскакивали во двор. Кто-то от избытка чувств носился, сломя голову, другие бежали в уборную в дальнем конце двора. Уборная, как положено, была деревянная. В мальчишечьем отделении было четыре очка, и там всегда толпились пацаны постарше. Многие курили и, не спеша, справляли нужду. Мы, малышня, жались по углам, ждали, но редко кому удавалось пробиться к очку. Кончалась перемена, звенел звонок, и нужно было бежать на урок. Отпрашиваться в уборную с урока мы ещё не научились. Так и терпели. Однако к концу дня иногда становилось невмоготу.

Хорошо было тем, кто жил недалеко от школы. Я жил далеко... Несколько раз, напрягая все силы, с трудом добегал до дома. Но однажды не смог.

Думал, успею. Терпел, сжав зубы. Не дышал... Бежать не мог, внизу живота что-то давило, мешало... Слезы текли из глаз, я держался изо всех сил... Надо было ускорить шаги, но идти больше не мог... Остановился. Широко открыл рот, что набрать воздуха и... Вдруг большой скользкий комок оторвался от живота и сквозь штанину полетел вниз по ноге...

Хорошо, что на улице никого не было, и никто ничего не видел.

Дома тайком от матери я постирал штанишки. Было невыносимо стыдно...

Другая беда настигла меня позднее и привела к тому, что я был посрамлен и пригвожден к позорному столбу на длительное время. В школе мне нравилось почти всё, но с какого-то времени я почувствовал, что учительница поглядывает на меня с неприязнью. Особенно, когда я ошибался в произношении слов и говорил не чисто по-русски, как положено в русскоязычной школе, а на своем украинско-русско-молдавском диалекте: «шо» (вместо «что»), «говорытэ» (вместо «говорите»), «царане» (вместо «крестьяне»), «жиды» (вместо «евреи»), «матуша» (вместо «тетя»), «сараку» (вместо «бедный»), «мэй» (форма обращения) и прочее. Но самое худое было связано с арифметикой.

Когда были уроки устного счета, я быстро поднимал руку и отвечал. Учительница спрашивала:

– Сколько будет три да четыре?

Я тут же отвечал:

– Семь.

– А четыре да пять?

– Девять.

– Правильно. А что же ты Крёстный у себя в тетрадке вытворяешь?

Я не понимал, о чем она говорит и, опустив голову, молчал.

– Ты просто лентяй и не хочешь учиться.

Я по-прежнему не понимал её.

А дело было вот в чём. Поскольку учебников по арифметике не было, учительница писала домашние задания на доске: « $1+1=...$ $2+1=...$ $3+1=...$ » и так далее. Мы всё старательно переписывали. Дома примеры нужно было решать. Вероятно, учительница объясняла, что ответы нужно дописать, но я был невнимателен и дома всё просчитывал устно и ничего не дописывал. На следующий день полагалось тетрадь сдавать на проверку, а новые примеры записывать в другую тетрадку. Я, как положено, тетрадку сдавал, а через день, получив её обратно, с удивлением обнаруживал под своими записями большую красную единицу. Так продолжалось несколько раз, и в моих тетрадях было уже по несколько «колов». Всё это попало на глаза отцу, который стал страшно ругаться, обозвал меня «дурнем», но что надо делать, не сказал. В классе я стал пользоваться плохой репутацией: Анна Яковлевна вдруг разглядела во мне злого симулянта и во время письменной работы она подходила ко мне, больно тянула костлявыми пальцами за правое ухо и тыкала головой в тетрадку, злобно приговаривая:

– Решай примеры... решай примеры, лентяй... Лентяй Иваныч!

Я глотал слёзы и решал. Устно! По-прежнему не понимая, что ответы надо – писать!

Строгой Анне Яковлевне, вероятно, не приходило в голову, толково всё объяснить. Она продолжала ставить мне единицы, тянуть за ухо и звать Лентяем Иванычем.

Неожиданно помогла тётка Сеня. Увидев мои злополучные тетради с «колами», она быстро сообразила, что надо делать и показала, как решать примеры.

Я перестроился, и вместо единиц стал получать нормальные оценки. Но обида на Анну Яковлевну не проходила.

Иногда наша учительница заболела, и вместо неё к нам в класс приходил Яков Михайлович, учитель третьего и четвертого класса. Он был очень старый, но веселый, жизнерадостный, громогласный и большой. Для нас, первачей, его приход был праздником.

Он любил играть и шутить.

– Что легче, – спрашивал, – килограмм ваты или килограмм железных перьев номер восемьдесят шесть?

– Вата! – отвечали мы дружно.

– Не-е-ет! – свирепо выкатывая свои огромные глаза, громко отвечал старый учитель.

– Тогда... наверно, перья, – неуверенно говорил кто-то.

– Н-н-е-е-ет, дети мои! – кричал учитель так оглушительно, словно мы были за километр от него.

И тогда руку поднимал очень тихий, очень рыжий и конопатый, с большими, как вареники, ушами и тонкой шеей Фишман Харик и чуть слышно говорил:

– Они одинаковые.

– Что одинаково?

– Килограмм ваты и килограмм перьев.

– В-о-о-о-т! – заключал Яков Михайлович и хохотал так, что стёкла в окнах слегка дребезжали. Вместе с ним долго смеялись все мы. Было весело и интересно.

Еще говорил он нам о правилах культурных людей, как надо сидеть за столом, как, входя в дом, пропускать других, как здороваться, особенно со старшими.

– Во время приветствия надо на секунду остановиться, немного приподнять головной убор и, слегка поклонившись, поздороваться.

Многие из моих сверстников возлюбили этот ритуал и по несколько раз в день, встречаясь со старым учителем, снимали кепки, картинно раскланивались и здоровались. Яков Михайлович с веселой улыбкой тоже приподнимал свою шляпу, кланялся и громко выкрикивал так, что слышно было на другом конце Пэмынтен:

– Здрав-ствуй-те!

С Анной Яковлевной, к счастью, мы скоро расстались: она куда-то уезжала. Но на прощанье она всё же подсыпала немного горечи в мою маленькую жизнь.

Перед новогодними праздниками в школе проводилась ёлка, и чтобы её украсить, нужно было каждому принести какую-нибудь игрушку. У меня была единственная игрушка, которую мне подарили, – зелёный броневичок. Он был заводной, и не только мог катиться дома по земляному полу, но и вращать маленькой башенкой с крохотным пулемётиком. Но раз учительница велела, я принёс свой драгоценный броневичок в школу, и сама Анна Яковлевна за ниточку прикрепил его к ёлке. А когда через несколько дней я пришел на новогодний праздник, броневичка на ёлке почему-то не оказалось. Я спросил у Анны Яковлевны про игрушку, но она сердито сказала, чтоб я не приставал: она ничего не знает...

Хорошо, что она уехала. Иначе я возненавидел бы учителей и школу.

* * *

Во втором полугодии в школе появились новые люди – заведующий и учительница. Заведующего звали Николай Павлович. Был он небольшого роста, полноват, с округлым лицом и добрейшей улыбкой. Во время перемен он часто играл с нами: взявшись за руки, мы водили хороводы, пели песни, учились ходить танцевальным шагом. Он выгонял из уборной курильщиков и следил, чтобы старшие не обижали младших. С появлением Николая Павловича стало как-то надёжно и очень интересно.

Новая учительница Евгения Ивановна, пожилая женщина с седыми буклями, как и Анна Яковлевна, была строга, но уже на третий день знала всех детей поимённо и обращалась к каждому не иначе, как Ваня, Люба, Юлик, Павлик... Она показала, как надо складывать не буквы, а звуки в слоги и слоги в слова. Некоторые ребята, такие, как переростки Саня Сысоев и Ваня Сало, долго мучились, никак не могли постигнуть процесс чтения: зная буквы, долго стояли, шевеля губами, мычали, не умея складывать слоги. Евгения Ивановна вдруг сказала им:

– Ну-ка, давайте вместе со мной пойте, пропевайте звуки и слоги. Смотрите на доску, а буду писать и одновременно петь: ммм – ааа... получается мааа... и снова ммм – ааа... мааа... получается мааамааа, то есть мама. И дальше: ммм – ыыы... мыыы... ллл – ааа... получается мыыылааа – мыла. Дальше: ррр – ааа – ммм – ууу... раааууу, то есть раму. Теперь все три слова вместе, поём: мааамаа – мыыылааа – раааууу. Мама мыла раму. Понятно?

Через месяц провели праздник прощания с букварем: и Саня, и Ваня, и все остальные читали вполне сносно.

Единиц я больше не получал. Учился нормально. Но однажды в весенний день, когда во дворе бежали ручьи и было сыро, мы с ребятами в вестибюле стали играть в догонялки. Я нечаянно опрокинул большой горшок с фикусом, который стоял на табурете. Горшок упал на

цементный пол и разбился. Фикус тоже упал, несколько веток сломалось. «Ну, всё, – подумал я. – Будет мне трёпка».

Испуганная Евгения Ивановна на звуки шума выглянула из класса и, увидев содеянное разорение, всплеснула руками, ахнула и быстро спросила:

– Это – ты, Крёстный?

Не *Павлик*, как обычно, а – *Крёстный*.

Я понуро опустил голову.

– Ну, пошли. – И учительница повела меня в кабинет заведующего.

Николай Павлович сидел за столом и что-то писал.

– Что случилось? – спросил.

Евгения Ивановна объяснила и ушла.

Заведующий дописал свои бумаги, встал, подошёл ко мне и, взяв за подбородок, поднял мою голову и посмотрел на меня очень строгими глазами.

«Что будет? – думал я. – Горшок, конечно, дорогой. Меня, наверно, заставят привести отца. Без порки не обойтись».

– Как это случилось?

Я виновато молчал.

– Скажи, Павлуша, ты ведь сделал это не нарочно, правда?

Я молча кивнул.

Николай Павлович также молча погладил меня по стриженной голове.

– Ты ведь не хулиган и не шалун, – тихо сказал заведующий и, нагнувшись, вдруг поцеловал меня в лоб.

Еле живой, я снова кивнул.

– То больше не будешь шалить, дружок? Так ведь? – Он снова поцеловал меня.

Я не ответил – говорить не мог. Слезы душили меня и, наконец, хлынули из глаз. Я горько заплакал.

Меня давно никто не целовал. Даже мама. Отец, тем более.

Первый класс я окончил на отлично и из рук заведующего получил похвальный лист, высшую в те времена награду, с подписью – Н.П. Бабич.

* * *

1948–1949

Бельцы

Во втором классе к нам опять пришли новые учителя. Заведующим школы был назначен новый человек – Иосиф Абрамович. Толстый, лысый и очень крикливый. Он совсем не был похож на нашего любимого Бабича. Между собой мы стали звать его Иоська и считали вредным и злым. Зато с учительницей повезло: к нам пришла молодая, очень красивая женщина, Валентина Фёдоровна. Она одевалась с каким-то особым шиком: на её статной фигуре обычно была плиссированная чёрная юбка и пушистая серая кофта; в холодное время она носила каракулевою серую кубанку, которая очень шла к её большим голубым глазам. Она была похожа на артистку Серову, но гораздо красивее; голос у неё был грудной, низкий, чуть глуховатый. Говорили, что Валентина Фёдоровна была фронтовичка, но о войне распространяться она не любила. Хоть мы были маленькими пацанятами, многие сразу влюбились в новую учительницу и при случае старались всяко услужить ей или хотя бы обратить на себя её внимание.

Первого сентября мы выстроились во дворе в четыре шеренги (по классам) на линейку. Перед строем вышли знакомый нам дядя Илья с аккордеоном (он играл у нас на утренниках)

и заведующий. Дядя Илья заиграл гимн Советского Союза, и Иосиф Абрамович вдруг затянул высоким тенорком, сильно по-еврейски картавя:

Сайю-юз негуш-ш-ш-и-и-и-мый геспу-у-у-блик
сва-а-а-бо-о-дных
Сплати-и-и-ла наве-е-е-ки вели-и-и-к-кая Ру-у-у-сь,
Да здга-а-а-вствуй-е-ет со-о-озд-а-анный
во-о-о-лей на-го-о-о-да
Вели-и-и-кий, ма-а-гу-у-у-чий Са-а ве-е-е-цкий
Сай-ю-у-у-уз!

Взмахнув руками, заведующий подал знак, и мы, четыре босоногих шеренги, дружно грянули припев:

Славься-а-а-а, а-а-а-те-е-е-че-ство на-а-а-ше-е-е
сва-або-о-о-одное —
Дру-у-ужбы наро-о-од-а-аф надё-о-о-ожный
апло-о-о-от!..

Учебной год начался хорошо. Мы преданно смотрели на нашу неземной красоты учительницу, она же, по-царски сдержанно, улыбаясь, излучала внимание и неизменную доброту. Каждый старался быть ближе к ней, чтобы хоть иногда поймать на себе взгляд её лучезарных глаз.

Я записался в городскую детскую библиотеку. Она была в центре города. Далеко. Но ходил туда с радостью. Сначала читал сказки, потом мне стали выдавать книжки Гайдара. Я читал и думал, какие смелые и геройские бывают ребята. Потом мне достался «Робинзон Крузо» и сразу после этого «Таинственный остров», и я понял, что нет ничего на свете интереснее, чем совершать путешествия к никому не известным островам, к новым землям и морям и, преодолевая суровые норд-осты, добираться до каких-нибудь Полинезий и архипелагов Туамоту. У нас в классе висела на стене карта полушарий, и несколько раз я пытался найти на ней остров в океане напротив устья реки Ориноко, на котором по описанию жил Робинзон. Река на карте была, океан был, а острова я не находил. Точно так же не мог найти и таинственный остров, описанный Жюлем Верном, хотя в книге были указаны его координаты.

Тогда я выпросил у мамы рубль десять копеек, пошел в «когиз» (так назывался книжный магазин), купил карту полушарий и дома гвоздиками прибил к стене. Теперь я мог вволю путешествовать, куда захочу. Карта была необычайно интересной. Я мог часами, мысленно следуя по обозначенным пунктирам, плыть на каравеллах Колумба к Антильским островам, или вокруг Африки – вместе с Васко да Гама, пересекать океаны с Магелланом.

Вместе со мной картой заинтересовался дружок мой Иван. Он был молдаванином, настоящая фамилия у него была Слэнина, что в переводе на русский означало Сало. Все звали его Сало. Он часто путался с написанием русских слов, приходил ко мне, и мы вместе делали уроки. Однажды мы придумали игру: сначала надо было просто найти на карте какой-нибудь город или море или остров. Потом придумали: кто больше найдет городов на ту или иную букву. Соревновались. Иногда попадались неприличные названия. На букву «п», например, я нашел на карте название европейского морского порта и прочитал – «Пула». Сало засмеялся. По-молдавски так назывался мужской половой орган. Неожиданно наши игры с картой обернулись практической пользой. Однажды на уроке неживой природы (был такой предмет) Валентина Федоровна спросила, кто знает, какие моря омывают территорию нашей страны.

Были названы Черное, Каспийское, Азовское, Балтийское моря. А когда учительница попросила показать моря на карте, мы с Иваном быстро показали ещё и Белое, Баренцево, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское и Японское моря. Все были потрясены, нас сильно уважали.

Ивана Сало уважали ещё и за то, что он был самым сильным в классе, да, пожалуй, и в школе. Никто не мог его побороть. В тёплое время года на траве школьного двора не раз схватывались разные силачи. Иван мог побороть любого, даже выше себя на голову. Он был небольшого роста, но руки у него были как железные клещи. Любого противника он сначала крепко сжимал в своих объятьях, потом резко поднимал и с силой, чуть наклоня, бросал на землю, через секунду тот был уже на лопатках. Я же, наоборот, был хилый и болезненный, часто болел ангиной. Но меня никто не трогал: все видели, что мы дружны с Иваном. Его побаивались.

Иван любил бороться, но никогда не дрался и не любил драчунов. Но однажды всё-таки его вынудили принять бой. В четвертом классе появился хулиган по фамилии Булаковский. Было ему лет четырнадцать, он был старше Ивана и выше ростом. Знали мы, что он ходит с финкой: он часто показывал её. Знали, что связан с какими-то бандитами: он постоянно похвалялся этим. Знали и то, что большинство пацанов с улицы Кладбищенской, где жил Булаковский, пользовалось дурной славой. И вот как-то раз этот Булаковский придрался к Ивану Сало. О чем они говорили, о чем спорили, я не слышал. Заметил их только в тот момент, когда Булаковский достал нож и размахнулся, чтобы ударить Ивана. Я не успел даже сообразить, что происходит, когда увидел, что Иван напрягся как пружина, отпрыгнул чуть вправо, уклоняясь от ножа, и мгновенно нанёс Булаковскому удар в висок. Всего один удар! Булаковский качнулся и упал навзничь. Он всё ещё сжимал в руке нож, но лежал, не шевелясь. Прошло несколько секунд – он продолжал лежать. Кто-то с испугу заверещал. Принесли воды, брызнули на лицо – Булаковский по-прежнему лежал, как мертвый. Побежали за Иосьюкой. Но не нашли. Наконец, поверженный очнулся и, отыскав мутными глазами Ивана, произнес:

– Я тебя всё равно зарежу! – после чего с трудом встал и, шатаясь, пошел.

Дело на том не кончилось. Намерения у Булаковского были серьёзные. Вечером того же дня он собрал кодлу человек пять с улицы Кладбищенской во главе с парнем лет восемнадцати, и они пошли к Ивану. Подошли к дому, где жил Иван с больной старенькой матерью и старшим братом Ильёй (мы звали его просто Илухой). Начали свистеть. На крыльцо вышли Иван с Илухой. Парень, старшой, отошел от кодлы и позвал Ивана, но навстречу пошел один Илуха. Старшой и Илуха сошлись на середине двора и стали о чем-то толковать. Так у бандитов было принято проводить стрелку.

Илуха и старшой говорили долго. Кодла в это время держала наготове кто финки, кто кастеты. Иван спокойно стоял на крыльце, подпирая деревянный столб. Из кодлы, наверное, никто не знал, но старшой-то должен был знать, что Илуха, невысокий ростом, допризывного возраста парень, обладал необычайной физической силой. На спор – я сам видел – он, поднатужившись, поднимал за передок полторку так, что передние колеса можно было крутить руками. Годовалого бычка, взяв за рога, он бросал на колени. Никого никогда Илуха не обидел, но все видели, как он гнул своими железными пальцами пятикопеечные монеты.

Наконец, базар закончился. Илуха спокойно пошел домой, а старшой увел своих бандитов на улицу Кладбищенскую. Стрелка на том и заглохла.

* * *

В день Красной Армии учительница предложила подготовить несколько номеров самодеятельности, в том числе поставить небольшой спектакль по повести Валентина Катаева «Сын полка». Решили изобразить сцену встречи бродячего сироты Вани Солнцева и военного

мальчика-кавалериста. На роль кавалериста подобрали рослого, упитанного четвероклассника Моню Бердичевского, а роль Вани досталась мне. В день спектакля вся школа набилась в наш класс. Было тесно. Сцены не было, мы с Мoneй стояли на маленьком пяточке у доски и «изображали». В руках Моня держал «шашку», выстроганную из куска доски, но на плечи его была накинута настоящая военная шинель, которая принадлежала самой Валентине Фёдоровне. На Ване, то есть на мне, были драные штаны и рубашка, торба через плечо – всё своё, ноги были босые. Публика нас подбадривала:

– Моня, держи хвост пистолетом, саблю не сломай!

– Пашка, надень лапти – простудишься...

Наш спектакль должен был осветить эпизоды героической судьбы мальчишек, ставших во время войны «сынами полков». Нам с Мoneй это, видимо, удалось. Валентина Фёдоровна хвалила нас, присутствующий Иосиф Абрамович одобрительно похлопал нас по плечам. Публика неистово хлопала и вопила: «Бис! Б-и-и-и-с!» После представления меня стали звать не иначе, как «Беспризорник», а Моню – «Кавалеристом». Но слава оказалась недолгой.

Не прошло и месяца, как я совершил проступок, который был назван «политическим преступлением».

Преступление моё состояло вот в чем. Почти у каждого пацана была рогатка – простая резинка от трусов, натянутая между большим и указательным пальцами. Такая рогатка-резинка была предназначена для того, чтобы поразить противника пульками из жеваной бумаги. Этим баловством занимались все старше первого класса. Стреляли друг в друга обычно на переменах, изредка на уроках. У Валентины Фёдоровны, конечно, не забалуешь. Но были у нас во втором классе ещё уроки молдавского языка, которые вела старенькая Екатерина Александровна. Поговаривали, что она преподавала что-то еще в довоенной румынской школе. На её уроках мы отрывались по полной программе. Учительница время от времени беспомощно покрикивала: «Тачь, бэете!» («Тихо, мальчики!»), но всё было тщетно. Никто её не слушал. Стреляли все, даже девчонки. Стрельба была такой плотной, что мало кому удавалось увернуться от бумажных пулек, и это ещё больше раззадоривало. Даже очень неазартный и неагрессивный Фишман не выдерживал и исподтишка постреливал.

Прямо над черной классной доской в рамке висел портрет Сталина. Почему-то неостекленный, наверное, в школе не было денег на стекло. Я стрелял, как все. Всё больше отстреливался. Но уворачиваться удавалось не всегда. Часто прилетало и мне. Вдруг после одного из моих выстрелов раздался хлопок лопнувшей бумаги, и на портрете вождя на изображении его маршальского погона чётко стало просматриваться отверстие. В классе вдруг наступила неестественная тишина. Учительница сняла очки, посмотрела на класс, потом, надев очки, посмотрела на повреждённый портрет и замороженным голосом спросила:

– Кто?

Выяснить, кто из сорока двух учеников сотворил это злодеяние, было совершенно невозможно, разве что применяя пытки на дыбе.

– Повторяю вопрос: кто это сделал? – в голосе престарелой учительницы звучал неприличный металл.

Класс ошарашено молчал. Все удивленно смотрели друг на друга. Помимо прочего, всё происходило так молниеносно и незаметно, что невозможно было догадаться, откуда и кто стрелял. Кто? Ну, кто же? Каждому хотелось это знать.

– Если виновник не признается, я напишу заявление в энкэвэдэ, – заявила учительница, демонстрируя какую-то до того неизвестную особенность своей персоны. Я не знал, что такое энкэвэдэ, но догадался, что это что-то нехорошее.

– Стрелять в портрет вождя, – добавила Екатерина Александровна, – это преступление.

Перед классом стояла уже не беспомощная бабушка, дожившая из румынского прошлого до послевоенных дней, а всё видящая, ничего не прощающая, безжалостная судья.

– Да, да, не ухмыляйтесь! – Всё оцепенели, никто не ухмылялся. – Это преступление. Притом политическое.

Ничего себе, подумал я. По спине пробежала струйка холодного пота. Сердце быстро-быстро застучало и остановилось – я судорожно вздохнул – и потом оно стало молотить, с силой бабахая о рёбра.

– Если преступник не сознается, будут допрашивать каждого...

Я представил себе, как моих одноклассников допрашивают, избивают до полусмерти, рвут живое мясо раскаленными докрасна щипцами, загоняют иголки под ногти... Я в кино видел.

– Ну, так кто?

– Это я, – неожиданно для самого себя сказал я, вставая с места.

– Ты – Крёстный?.. – удивилась Екатерина Александровна. – Не ожидала.

Она внимательно посмотрела на меня, вероятно ещё не вполне веря в услышанное. Зная меня много лет, – старая учительница жила в доме, недалеко от нашего, – как спокойного и тихого мальчика, она, наверное, в самом деле, не ожидала, что преступником окажусь я.

– Что ж, пойдем к заведующему.

Я сложил свои тетрадки в торбу, и мы пошли к Иоське. Было понятно, что дела мои совсем плохи.

Заведующий с кислой миной выслушал доклад учительницы. А в её речи вдруг появились непонятные для меня новые слова: педсовет, исключение из школы, колония для малолетних, ещё что-то.

– Принесите портрет, – неожиданно потребовал Иоська.

Принесли. Заведующий внимательно осмотрел дырку на погоне отца народов и спросил меня:

– Зачем ты это сделал?

– Я не хотел. Я нечаянно.

– Балда, – тихо сказал он.

Говорить больше было не о чем.

– Я с вашего разрешения схожу к родителям Крёстного, – подала голос учительница. – Поставлю их в известность.

– Да, да, конечно.

Вечером того же дня учительница молдавского языка нанесла визит в наш дом. Всё рассказала моей бедной матери и в заключение, высказала предположение, что, скорее всего, меня исключат из школы. Перепуганная мать заплакала и попросила учительницу, как хорошую знакомую, вступить за меня:

– Ведь вы же знаете мого Павлушу дуже добре.

– Ничем не могу вам помочь, – ответствовала суровая и отныне неприступная Екатерина Александровна.

Мать проплакала всю ночь. Отцу, правда, ничего не сказала.

На другой день в школу я не пошел. Боялся.

На следующий день тоже не пошел. По-прежнему страх парализовал меня.

Я не ходил в школу целую неделю.

А когда пришел, было очень рано. Толстая сторожиха, она же дежурная, пустила меня в класс. Я был один. Вдруг поднял глаза и увидел, что портрет Сталина висит на старом месте.

Всё тот же. Приглядевшись, я понял, что дырки на погоне нет. Кроме всего, портрет отблескивал: в раму было вставлено стекло.

В класс кто-то входил. Это была Валентина Федоровна.

– Ну, здравствуй, Павлуша, – сказала она с порога, – я уж думала, ты заболел.

Она подошла ко мне и... неожиданно обняла своими белыми царственными руками. От её красивой кофты исходили такие запахи, что у меня перехватило в горле.

– За твой глупый поступок, – строгим голосом сказала она, – мы решили объявить тебе выговор... Но ты постарайся об этом никому не рассказывать.

– А портрет?

– Про него тоже лучше помалкивай. Сам Иосиф Абрамович заклеил портрет с обратной стороны. Так что ничего и не видно.

* * *

Во втором классе большинство из нас принимали в пионеры. В торжественной обстановке четвероклассники должны были повязать каждому красный галстук. Меня тоже принимали в пионеры, хотя лично у меня в связи с этим событием возникали большие проблемы.

Дело в том, что все члены моей большой семьи были люди глубоко верующие и богобоязненные. Как и все мой родичи, я тоже считался верующим, с раннего, еще военного, детства ходил с матерью в церковь, сначала православную, потом баптистскую. Пионеров же и комсомольцев все считали безбожниками. Да они и в самом деле воспитывались не просто в духе атеизма, а – воинствующего безбожия. И это обстоятельство было несовместимо с традициями и основами жизни моей семьи. Я смутно понимал это и дома не смел ни с кем даже разговаривать о том, что хочу стать пионером: это могло бы сильно огорчить родных, особенно, маму.

Мои школьные товарищи, со многими из которых я дружил, с большим волнением и радостью готовились к ритуалу приема в пионеры. Этот ритуал выглядел как знаковое событие: принятые в пионеры приобретали, казалось, особое, более высокое, достоинство, чем остальные дети, не пионеры. Это было как прохождение первой ступени посвящения в некий благородный рыцарский орден. Мне тоже очень хотелось получить высокое звание юного пионера.

Как же мне быть? Как поступить? Что делать? Я не знал.

У меня не было даже галстука. Не было и денег, чтобы купить его. А подготовка к ритуалу шла полным ходом.

И тогда одноклассник Семикин, с которым я не водился (он был ябеда, и в классе его не любили), вдруг дружелюбно предложил: «Хочешь, я попрошу свою мамку, и она сошьёт тебе галстук?» Надо, говорил Семикин, только принести деньги, отдать ему, а он передаст матери. Всего рубль пятьдесят. «Но у меня нет таких денег», – сказал я. «Это ничего, – деловито заверил меня предприимчивый товарищ. – Ты каждый день будешь отдавать мне по 15–20 копеек, пока не наберется полтора рубля». Я колебался. «Ну, как, идёт?» «Идёт», – уныло согласился я. Потом почти месяц расплачивался, отдавая Семикину копейки, которые иногда давала мне мать для покупки бутерброда или булочки с чаем в ближайшей от школы столовой. Зато через день Семикин отдал мне сатиновый галстук, аккуратно прошитый по краям на швейной машинке.

Получив галстук, я понял: путь у меня теперь только один...

Всё должно было произойти 22 апреля – в день рождения Ленина. Мы усиленно готовились к торжеству.

Пионер – значит первый. Пионер – всем во всём пример. Так говорила обожаемая нами Валентина Федоровна, каждое слово которой было для нас на вес золота. Пионер отличается хорошим поведением – значит, все рогадки долой! У пионера не должно быть двоек. Я-то давно учился не только без двоек, но и без троек и даже без четверок, но у Ивана Сало хро-

мала грамматика – надо было помочь: не мог же я идти в пионеры без моего друга. Класс подтянулся, злостные лодыри исправляли двойки, шалуны затихли. Даже на уроках молдавского языка стояла гробовая тишина.

И вот мы, два десятка второклассников, выстроились в вестибюле в одну шеренгу и стоим перед другими классами. У каждого на вытянутых руках – галстук.

Раздаются барабанная дробь, звуки горнов, и из кабинета заведующего выходит знаменная группа, строевым шагом проходит мимо нашей шеренги и останавливается со знаменем пионерской дружины посреди вестибюля.

– Слово предоставляется... – громким праздничным голосом возглашает наша Валентина Федоровна. (Она, как всегда, с нами. Рядом. Но выглядит необычно. На ней гимнастерка с погонами старшего лейтенанта, медали и орден Красной Звезды.) – Слово предоставляется пионеру 20-х годов, ветерану войны товарищу Майскому.

Строй напряженно замер: кто это такой?

Вперед выходит Иосиф Абрамович и, приветствуя нас, говорит какие-то важные слова. На его пиджаке блестит несколько медалей. Оказывается, у него фамилия Майский, и он фронтовик. А я не знал...

Рядом со знаменем встает четвероклассница Зина Гузун. Она председатель совета дружины. Главная пионерка. Очень красивая. Светло-русые косы заплетены корзинкой и украшены белыми пышными бантами. На ней – чёрный низ, белый верх – ослепительно белая блузка с тремя красными лычками на рукаве. Поверх блузки – яркий галстук, настоящий шелковый.

Мы должны произнести слова присяги, которая называется торжественным обещанием.

– Я! Юный пионер! – громко произносит Зина, и мы за ней хором повторяем:

– Я, юный пионер...

– ...перед лицом своих товарищей...

– ...перед лицом своих товарищей...

– ...торжественно обещаю...

– ...торжественно обещаю... – как эхо вторим мы и дальше произносим всё, что говорит Зина.

Нам повязывают красные галстуки.

Зина звонким голосом командует:

– Юные пионеры, см-и-и-и-ррр-но-о! К борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовы!

– Всегда готовы! – радостно, немного невпопад отвечаем мы и вскидываем руки в салюте.

Всё. Ритуал на этом заканчивается...

Я иду домой, не чуя ног. Не иду – лечу. Я – тоже пионер! Я – тоже!.. Счастье переполняет меня...

Но, подойдя к дому, останавливаюсь. Очень хочется показаться в галстук маме, дедушке, бабушке. Но я точно знаю, что они не обрадуются, и решаю не расстраивать их.

Развязываю галстук – символ моей принадлежности к лучшей части человечества, с сожалением сворачиваю его и прячу в торбу.

* * *

В школе никто не знал, что я хожу в церковь. Но я же не мог быть безбожником, оправдывал я себя. А дома я никому не говорил, что стал пионером. В церкви во время богослужения я молился, просил у Бога прощения и надеялся, что Он простит меня за такую двойную жизнь.

Тогда мне ещё казалось, что пионер вполне может быть верующим. Тайно, если захочет.

В День Пионерии, 19 мая, после уроков наша школьная дружина торжественно прошествовала по городским мостовым и прибыла на просторный, поросший майской муравой луг на берегу (в то время еще чистой) речушки Реуцел. Туда же прибыли пионеры из всех школ города. Сделали большую пирамиду из еловых поленьев, облили её керосином, и она запылала мощным костром. Все построились кольцом вокруг костра. Забили сотни барабанов, заиграли десятки горнов. Потом всё смолкло.

Военный оркестр вдруг грянул пионерский гимн. И несколько тысяч детей, взявшись за руки, запели:

Взвейтесь костра-а-а-ми сини-и-и-е но-о-очи,
Мы пионе-е-е-ры, де-е-е-ти рабо-о-о-о-чих ...

Наступил вечер. Возшел молодой месяц, огонь нашего костра, казалось, достаёт до него и до самых далеких звезд. Я стоял в многотысячном строю и вместе со всеми пел:

Бли-и-и-зится э-э-э-ра све-е-е-т-лы-ы-ы-их год-о-о-ов.
Кли-и-ич пионе-е-ера: «Всегда-а-а будь гото-о-ов!»

Невозможно словами выразить восторг и радость, которые переполняли меня. Какое счастье, думал я, быть вместе со всеми. В одном строю.

В то время я ещё не понимал, что быть со всеми хоть и хорошо, но не всегда нужно стремиться именно к этому. Не обязательно всегда быть с *большинством*. Главное – быть с людьми, которые тебе близки и дороги. Это я понял позднее.

* * *

Со временем атеистическое школьное воспитание и окружение безбожного большинства сделали свое дело, и Павел Крёстный вынужден был пересмотреть свои суждения о многих предметах. Когда пришла пора вступать в комсомол, он по привычке продолжал ещё ходить в церковь. Однако, будучи завзятым книголюбом, неожиданно в 9-м классе увлёкся философией. Прочитал несколько диалогов Платона, работы Аристотеля, кое-что из Гегеля (Кант оказался не по зубам), Шопенгауэра, перечитал Льва Толстого и основательно врубился в Маркса и Энгельса. Неожиданно обнаружил, что прежние религиозные представления не согласовываются с новыми глубокими истинами, которые открылись ему. Он убедился в фальшивости и ложности многих религиозных догматов.

Когда Павел вступал в комсомол, он не был атеистом, но с религией решил порвать. По-прежнему, следуя приобретенной многолетней привычке, ничего не говорил о комсомоле никому из родных. В тридцать лет вступил в компартию, нерушимо веря, что именно она – «ум, честь и совесть нашей эпохи». Однажды он приехал в отпуск к старенькой, уже сильно болеющей матери. К тому времени он был отцом четверых почти взрослых детей, несколько лет работал в Сибири директором крупного техникума. Мать, пристально глядя на сына, спросила:

– Павлуша, ты такой большой начальник, ты – наверно партийный!

– Да, мама, – признался сын. Это было первое в его жизни признание подобного рода.

Косвенно оно означало и признание в его уходе из религии.

– Я так и думала, сынок, – тяжело вздохнув, сказала мама. – Ничего... Среди партийных тоже много хороших людей.

Помедлив, она спросила:

– Ты ведь не безбожник, правда?

– Да, мама. Правда. – И это на самом деле была правда, которую Павел выстрадал десятилетиями своих блужданий и поисков.

Мать догадывалась, что сын не вернётся ни в баптистскую, ни в православную, ни в какую другую церковь. Но раз он не безбожник, решила она, значит, придет к Богу.

– Ты всё-таки молись Богу. Без Бога нельзя. Молись, и Он тебя услышит...

Прошли еще годы. Партия развалилась. Распалась и великая страна. И я снова с горечью убедился, что коммунистическая риторика тоже во многом была ложной. Убедился и в том, что большевики совершенно напрасно отринули себя от Бога. Вполне можно было этого не делать.

Я помнил слова матери и продолжал молиться так, как она учила меня когда-то в детстве.

Чёрная стихия

6 апреля 1949 года Политбюро ЦК ВКП(б) постановило выселить из Бессарабии бывших помещиков, кулаков, предпринимателей, сектантов, лиц, помогавших румынским и немецким оккупантам, и лиц, помогавшим белогвардейскому движению. Выселение проводилось целыми семьями и получило название операции «Юг». Из Молдавской ССР было выселено 11 280 семей численностью 40 850 человек.

Из Википедии

1949

Бельцы

– Да сколько же их?! – в сердцах который раз восклицал дядя Ваня, глядя на непрерывный поток автомобилей, движущихся по рышканскому шляху. – Целую неделю везут и везут, и конца не видно...

Вуйко Ваня и его жена матуша Маруся были нашими соседями, их поле граничило с нашим – межа в межу. Нашей семье достался на четвертом километре от города сравнительно ровный участок земли, после вспашки которого часть была засеяна кукурузой, рожью и подсолнечником, а треть оставалась под перелогом – там паслась Флорика. Наши соседи получили просторную низину с сочной травой, где паслась их корова Пеструха, и холм, на одном из склонов которого росли уже большенные арбузики и дыньки, а на другом – кукуруза и подсолнухи. Дядя Ваня был, как и мой отец, недавно демобилизованный фронтовик. Он был небольшого роста, веселый, очень компанейский и совсем молодой, а жена его, улыбочивая красавица тётя Маруся, сестра моей матери, – ещё моложе. В низине стояла их халабуда, которая хорошо укрывала и от палящего солнца, и от дождя. За бахчей требовался присмотр, поэтому приходилось бдить и дни, и ночи.

По дороге с утра двигался непрерывный поток автомобилей. Это были американские «студебекеры». Они шли с интервалом 50-100 метров, ревя моторами и сверкая на солнце поднятыми лобовыми стёклами. Боковые стёкла кабин были опущены и видны были головы и плечи красноармейцев, сидящих за рулем. В длинных кузовах с высокими бортами виднелись головы каких-то людей, которые сидели не на боковых скамьях, а на полу. Головы были замотаны в тряпье и болтались на ухабах из стороны в сторону как неживые куклы. Железный поток машин с безмолвными серыми пассажирами производил тягостное и одновременно угрожающее впечатление.

– Что это за люди? – спрашивал я.

– Говорят, что это подняли и высылают кулаков и всяких врагов народа, – объяснял дядя Ваня. – Но я никак не пойму, откуда их столько в селах нашего и соседних уездов? У нас кулаков-то всегда было один-два на село.

– Куда их теперь?

– У нас теперь страна большая. Есть куда сослать. Думаю – в Сибирь.

Мне было непонятно, что это за силы, которые поднимают людей в одном месте и швыряют их, как мусор, на край света.

Весь июль жара стояла невероятная. К обеду горячий воздух раскалялся так, что можно было дышать только через платок или рубаху; киселеобразное слоистое марево, висящее над долиной ближней речки Рэут, заметно шевелилось. С утра дядя Ваня с женой ведрами таскали из речки воду и поливали свою гарбузарию. Я прятался от солнца в подсолнухах. Даже читать

не хотелось. Бедная Флорика равнодушно наполняла свой живот травяной жвачкой и время от времени вскидывала голову и обмахивалась хвостом, отгоняя мух и оводов.

В тот день жара была особенно удушающей и нестерпимой. Я едва дождался полудня, взял свою торбу, и мы с Флорикой спустились в низину.

– Давай, Павлуша, к нам в халабуду, – позвала тётя Маруся.

Там на полу уже был расстелен кусок рядна, на котором она выставила снедь: мамальгу, вареную картошку, молоко. Я достал из торбы своё: бутылку кипяченого молока, хлеб и кусочек брынзы. Пришел дядя Ваня, и мы стали обедать. Я съел пару картошин, соседи попробовали моей брынзы. А после всего дядя Ваня вдруг достал из ведра небольшой арбузик, постукал по нему ладонью – звенит! – и сказал:

– Господи, благослови пищу нашу.

Он разрезал арбуз по-молдавски на скибы и весело сказал:

– Налетай, ребята.

Да, яство было вкуснейшее.

– Сколько раз на фронте, – вдруг вспомнил, просветлев лицом, дядя Ваня, – я представлял, как после войны буду на своей земле есть свои арбузы.

Похоже, что фронтовая его мечта сбылась. Мы с дядей Ваней вышли из шалаша. На шоссе было тихо. Видимо, машинный поток закончился.

– Наверно, всех кулаков подняли?

– Кто знает? А ты подумай, сколько им по такому пеклу ещё ехать? Сначала в машинах, потом в телячьих вагонах. До Сибири далеко – несколько тысяч километров.

После обеда мы ещё немного посидели в прохладе шалаша. Даже прилегли вздремнуть: сильно тянуло ко сну. Но не прошло и получаса, как вдруг все разом вскочили: резко подул прохладный ветер.

Ещё через несколько секунду произошло невероятное: будто кто-то выстрелил из огромной воздушной пушки, и в нас ударил тугой, как стальная пружина, сильнейший залп холодного воздуха, который мгновенно опрокинул и разметал наш шалаш. Оказавшись без укрытия, мы увидели ужасающую картину: вдоль долины на нас двигалось чёрное чудовище. Это была невиданная по величине, длинная, до самого горизонта, черная как сажа туча с загибающимися, сверкающими молниями, краями, которая двигалась прямо на нас на уровне, казалось, человеческого роста. Я оцепенел от страха: никогда ничего такого я ещё не видел. Туча-чудовище приближалась к нам на фоне чистого неба, не замутненного ни единым облачком, и надвигалась она неотвратимо, с немыслимой быстротой, заполняя собою всё окружающее пространство. Вид этой стихии был настолько могуч и грозен, что подавлял всякую способность двигаться и соображать. Наши бедные коровы задрали вверх свои рогатые головы и жалобно мычали. Мы все, и люди, и коровы, замерли в каком-то ожидании, не зная, что делать.

Когда передний край тучи накрыл нас, стало необычно тихо, лишь что-то шипело в жутко наэлектризованном воздухе, и тут мы увидели, что вместе с шумом идет вал какой-то новой плотной массы. Через несколько мгновений эта масса, оказавшаяся водой, обрушилась на нас – это был не дождь, а сплошной поток, непрерывно изливающийся откуда-то из чрева черной стихии. Низина, в которой мы находились, стала быстро заполняться водой.

– Давайте, бегом на дорогу! – закричал дядя Ваня.

Они с женой схватили за веревку свою корову и двинулись к холму. Я ухватил свою Флорику за хвост, и мы галопом поскакали следом. К тому моменту, когда мы уходили из низины, её затопило: уровень воды был по колено.

Мы выбрались на шлях, и оказалось, что дорога тоже вся залита. Рядом шумел Рэут, и необъятно разлившиеся воды его неслись со страшной скоростью мимо каменоломен. Вот-вот вышедшая из берегов речка затопит всё. Впереди дорога шла в гору.

– Быстрей, Павлик! – подстегивал дядя Ваня. – Давай, вверх по дороге!

Моя Флорика и без команды понимала, куда надо идти. Она уверенно пошла в гору, таща за собой меня.

Худо было то, что в какие-то моменты, мы, люди, хорошо знавшие местность, вообще не понимали, куда идти. Сплошные потоки, льющиеся с неба, не позволяли разглядеть ни дорогу, ни другие предметы, и мы полагались только на коров.

За очередным холмом шоссе, которая вела в город, продолжалась, и мы брели по ней по пояс в быстро текущей воде, ориентируясь только на торчащий из воды ряд телеграфных столбов. На что ориентировались наши Флорика и Пеструха, не знаю, но они ни разу не сбились с каменистого основания дороги. Так мы почти вплавь отмахали километра два, когда небесный поток прекратился, однако с мутных туч что-то еще цедило. Впереди нас развиднелось, и мы увидели нескольких мужчин и женщин, которые, как и мы, шли со скотом.

Наконец, показалась окраина Пэмынтен.

За последний час мы навидались и натерпелись такого, что совсем не удивились открывшемуся зрелищу разорения: стены двух крайних саманных сараев были повалены, рядом с ними валялись серые кучи лампача, с трех домов были снесены крыши из дранки и перевернутые лежали на огородах, посреди одного из дворов стоял пожилой плохо одетый мужчина и молча смотрел на лежащую на земле крышу, возле другого дома на табурете сидела женщина с непокрытой головой, она держала на руках грудного ребенка и плакала, несколько крупных акаций были сломаны или выворочены с корнем.

Но самое странное, что мы увидели, было то, что около десятка «студебекеров» с подневольными пассажирами стояли на шоссе в воде, уровень которой всё ещё доходил до буферов. Мы вынуждены были проходить рядом с машинами – другой дороги не было. И мы близко увидели сидящих в кузовах: это были не только давно не бритые и казавшиеся одичавшими мужчины, но и пожилые, и совсем молодые женщины с измученными лицами, и плачущие дети, среди которых были и грудные. Вероятно, машины застряли тогда, когда начался ураган.

Ну, какие это враги, особенно, дети, думал я. Хотелось чем-то помочь этим несчастным, попавшим в беду. Но чем, как?

Красноармейцы, сидящие в кабинах, курили и, казалось, были безучастны ко всему происходящему.

Проходя вдоль колонны, я вдруг сверху услышал тихое:

– Мэй, бэете!⁴ – ко мне, да, да, оказывается, именно ко мне – обращалась пожилая женщина, очень похожая на матушу Зановию, младшую мамину сестру, живущую где-то в селе. Но это была не матуша Зановия. Женщина сказала шёпотом:

– Держи письмо, – и протянула мне треугольник.

Я быстро взял письмо и спрятал за пазуху мокрой рубахи.

Вскоре мы с Флорикой добрались до дома.

Я достал треугольник, и с удивлением прочел адрес, куда его нужно было отправить: «Москва Сталину». Развернул письмо, в нем химическим карандашом неровными буквами (видно было, что писали не за столом) по-молдавски была написана просьба о помиловании.

На следующий день я купил на почте марку за четыре копейки, наклеил на треугольник и опустил его в почтовый ящик.

⁴ Эй, мальчик!

Дошло ли послание по адресу, не знаю.

За «дамским пальчиком»

1949

Бельцы

Толяну Морару было лет пятнадцать. Длинный и плоский как доска, в отличие от нас, пацанов помладше, которые с весны и до сентября ходили в одних трусах, он носил сатиновые шаровары и футболку. Он быстро бегал – догнать его никто не мог, – был невероятно вёртким и ловким и хорошо играл в футбол. По этой причине во время летних налетов на сады селекционной станции он был неуловим, хотя не раз за ним гнались, однажды даже – верхом на лошади. Он не просто убегал от преследователей, а ловко и неожиданно маневрировал, делая ложные шаги и выпады, и всегда ускользал.

Я с ним не водился: Толян был почти взрослый, намного старше меня. Обычно мы играли с его младшим братом Витькой, моим ровесником. В тот день я пришел к ним домой и застал Витьку в постели: оказалось, он растянул связку на ступне; мать приложила к ноге лист лопуха, сверху крест-накрест перебинтовала и велела лежать. Мы с Витькой стали играть в шашки, но тут появился Толян, как всегда готовый к новым делам и приключениям, и сказал:

- Айда, кто со мной?
- Я не могу, – сразу заявил младший.
- А ты, Пашка? – спросил Толян меня.
- Не знаю, – ответил я. – А что надо делать?
- Дамский пальчик любишь?
- Виноград, что ли?
- Ну, да.
- Люблю, но он же еще зеленый.
- Я знаю одно место, где есть спелый.

Хорошо было известно, что Толян в таких делах, как обчистить чужой сад, был большой специалист. Но было известно и то, что виноград в наших местах поспевает только к концу сентября. А – чтобы в августе...

– Это особый сорт, – пояснил Толян. – Называется гибрид.

Я всё ещё сомневался:

– Не знаю...

– Да я сам был там, на опытной деляне. Это недалеко от мехдвора. Правда, не на всех кустах кисти созрели. Надо выбирать... Есть много спелых... Надо смотреть по цвету. Спелые – они чуть желтее...

Совершение набега на казенный сад в нашей магале не только не осуждалось, но было своего рода доблестью. Всякий уважающий себя пацан признавался своим, если участвовал в таком набеге.

Когда старшой, почти парубок, уверяет, что сам был там и сам пробовал, в это трудно не поверить. Но, по правде говоря, мне не хотелось идти с Толяном. Он не был ни другом, ни приятелем, никогда ни в каких делах вместе с ним я не участвовал, и вообще он был из другой, пока чужой для меня, компании. Я хоть и был много младше его, хорошо знал правило, без соблюдения которого идти на дело было нельзя. Правило простое – взаимовыручка. Подельники должны быть готовы выручить друг друга. А про Толяна я ничего не знал.

- Виноград зеленый... – упирался я.
- Ладно, раз ты трусишь, пойду я один, – заявил Толян.

Трусость – самый нестерпимый и унижительный грех, в котором может быть обвинен пацан.

– Я не трушу, – сказал я.

– Нет, трусишь.

– Неправда.

– Да я же вижу, что у тебя коленки дрожат ...

Это было слишком! Допёк он меня:

– Ничего не дрожат. Пошли.

Витька дал мне старую рубаху, чтоб было куда – за пазуху – засовывать гроздь. И мы пошли.

Дом семьи Морару был на окраине Пэмынтен, на улице Зеленой. Через дорогу на территории бывшего румынского монастыря после войны расположились громадные уголья селекционной станции: большой парк – место наших тайных игр, – контора и научные лаборатории в здании монастыря, мехдвор с тракторами, комбайнами, косилками, молотилками. Дальше шли сады, виноградники, опытные деляны различных сортов пшеницы, ржи, кукурузы, подсолнечника, сои и многих экзотических культур, в том числе – даже хлопка. Все сады и виноградники, рядом с городом, были огорожены либо плотным без щелей дощатым забором высотой около двух с половиной метров, либо таким же высоким забором из колючей проволоки. Второй линией ограждения за забором служили высоченные деревья, которые мы называли дикой акацией. Деревья были посажены очень часто, и иголки, длина которых достигала сантиметров двадцати, внизу смыкались между собой так, что пролезть между ними, не поранясь, было невозможно.

Мы долго шли вдоль дощатого забора. Где-то в середине пути Толян остановился и сказал:

– Виноградник здесь.

Он указал на небольшой пролом, прямоугольную дыру в заборе, у самой земли размером со страничку школьной тетради. Через такую дыру могла бы пролезть кошка или курица, а вот животное побольше уже не пройдет. Я лёг на землю и приник к пролому, но ничего, кроме острых игл акации, не увидел.

Если бы я знал, какую странную роль в предстоящей операции сыграет эта дыра!

– Надо идти дальше, – объяснил Толян. – Там будет колючая проволока. В проволоке есть проход. И мы спокойно через него попадем в сад.

Будем ли мы на обратном пути пользоваться тем же проходом, Толян не считал нужным мне сообщать. Мне ничего не оставалось кроме, как полагаться на своего старшего партнера. Хотя это было не по правилам.

Не нравилось мне и то, что мы всё время шли по дороге, усеянной мелкими острыми камешками. Толяну – что? – он был в сандалиях, а я – босой. Но шёл – куда деваться.

Наконец, мы прибыли к месту, где в колючей проволоке был сделан проход. Место было знакомое: в прошлом году мы с пацанами совершили два похода за яблоками и грушами. И всё – через этот проход. Но рядом мы оставляли одного «на атасе».

Сейчас, кроме нас с Толяном, никого не было.

Мы пролезли через проволоку, потом между стволами акации, здесь они росли реже, и оказались в яблоневом саду с обвисшими ветками тяжелых, почти созревших плодов апорта и антоновки.

Яблоки в этот раз нас не интересовали.

– Где виноградник? – спросил я.

– Надо идти обратно, – сказал Толян.

Мы снова потащились вдоль колючей проволоки, дощатого забора и акаций, но теперь – по вспанной земле яблоневого сада, в обратном направлении. От сада тянуло кислотовато-медовым ветерком, который слегка кружил голову. Наконец, шагов через триста показались ярко-зеленые шпалеры виноградника, которые рядами тянулись к мехдвору.

– Вот! – тихо сказал Толян, давая понять, что мы пришли к цели.

Мы вошли в виноградник, и в нос крутошибануло химикатами. Каждый сходу начал обследовать кусты, распяленные на туго натянутой проволоке. Толян пошел между крайними шпалерами, я – между следующими.

Я осматривал висящие на кустах гроздья, это на самом деле был дамский пальчик. Кисти были необычно больших размеров, но сплошь, сколько я видел, были насыщенно-зеленого цвета, сильно облитые бордосской жидкостью. Конечно, незрелые. Я быстро продвигался вдоль шпалеры и расстраивался всё больше и больше, – везде было одно и то же – зелень. Обманул Толян, с досадой подумал я, начиная злиться на своего поделника. И тут же увидел впереди несколько кустов с более светлыми листьями. Я бросился к ним и был вознагражден: кисти на них были желто-зеленые. Попробовал две-три ягоды – само то! Спелые! Вот это – да!

Кисти не просто росли на кустах, они лежали на проволоке, свисая тяжелым грузом. Чтобы сорвать такую, нужно палец подвести к месту её крепления к лозе и сильно дёрнуть. Я так и сделал, и огромная гроздь отвалилась и оказалась у меня в руке. Но при этом сильно дернулась проволока, и зашевелился весь шпалерный ряд.

И тут...

Тут я вдруг увидел нечто, от чего руки-ноги перестали двигаться. И остановилось дыхание. Впереди, шагах в пятидесяти, стоял человек. Когда и откуда он взялся, было непонятно. Но он молча стоял и внимательно смотрел на меня. Был он небрит, чёрен лицом, одет в серую с темной полоской сорочку и зеленые солдатские галифе, ноги босые. Конечно, это был охранник, кто же другой, – догадался я, с трудом ворочая мозгами. Однако страх нагонял не столько он, сколько огромная кавказская овчарка, которая стояла рядом с охранником и тоже, не подавая голос, смотрела на меня; взгляд её острых глаз был настолько сосредоточенным, что казался гипнотическим.

В моём мозгу что-то быстро переключилось, и дальше процесс мышления-говoreния-движения-осмысленных действий пошёл рывками.

– Атаc! – тихо пискнул я, и мой приятель отреагировал мгновенно.

Толян, нажав на проволоку, быстро вскинул своё плоское тело и, мигом перелетев через шпалеру, в три прыжка оказался у забора. Я же из-за малого роста не мог, как он, перепрыгнуть через проволоку, но как только рванул с места и побежал к выходу вдоль шпалер, в тот же миг неспешным галопирующим аллюром в мою сторону поскакала овчарка.

Ужас парализовал ту часть моего мозга, которая заведует здравым смыслом. С этого момента время почти остановилось и разделилось на несколько ме-е-едленных, ме-е-е-е-е-едленных кусков, в течение которых, действуя на автомате подсознания, я за несколько мгновений сделал с десятков таких движений, на которые в обычном состоянии понадобилось бы несколько минут.

Собака быстро приближалась, оскалив пасть – но ещё быстрее я доскакал до акаций – Толян стоял уже у забора, готовясь к прыжку через него – я успел крикнуть: «Помоги!» (надо было бы крикнуть: «Помоги мне: подсади, чтобы я мог дотянуться до зубцов забора!», но на такое длинное предложение не было времени) – а Толян то ли не слышал, то ли не хотел возиться со мной – ОН НЕ ОГЛЯНУЛСЯ – он подпрыгнул, повис на заборе, легко подтянулся и сел сверху между зубьями досок – я крикнул: «Эй!» – но он в мою сторону даже НЕ ПОСМОТРЕЛ – в следующий миг он спрыгнул с забора и оказался на другой стороне – «Г-гад!» – успел крикнуть я (надо бы заматериться, но не было времени) – что же делать, метался я – и кинулся напролом сквозь длинные колючки дикой акации – что-то больно кольнуло в левую ягодицу –

ничего, пускай колет – и тут я увидел внизу забора тот самый пролом величиной с тетрадный лист – не думая, пролезу-непролезу, кинулся в этот пролом – быстро просунул сначала правую руку, потом с трудом голову – потом, подгребая правой рукой, чуть продвинулся – просунул левое плечо, потом левую руку – наконец, опираясь правой и левой руками, протасил всё остальное – и... оказался по другую сторону забора.

Еще через пару секунд в проломе показалась оскаленная морда овчарки, которая, наконец-то, подала голос – зарычала. Но теперь я знал, что ничего она со мной не сделает: в дыру-то ей не пролезть.

И я понял: опасности больше нет. Я спасен!

Встал на ноги. Из раковины левого уха шла кровь: видать всё же зацепился за забор. Из левой ягодицы торчала длинная стрела акациевой колючки. Я выдернул её, но боли не почувствовал. Наверное, был в шоке...

Далеко по дороге лёгкой иноходью бежал Толян, и было видно, что футболка спереди у него сильно оттопыривается: дамского пальчика он успел-таки набрать. Бежал он почему-то в сторону, противоположную его дому.

Я тихонько поковылял домой.

Потом, позднее несколько раз я проходил мимо той мне дыры в заборе, трогал доски – они были крепкими, – осматривал землю – она была плотно утрамбованной – и никак не мог понять, как же мне удалось пролезть через такое маленькое отверстие.

Больше мы с Толяном не пересекались. При случайных встречах он делал вид, что не видит меня. Я тоже избегал его.

Володя

1952–1953

Бельцы

После того, как дружки Жорки Рыжего побили братьев Белооченковых, мы стали остерегаться. Такого ещё не было, чтобы чужие на нашей территории обижали наших пацанов.

– Мы с Сашкой шли себе по улице, – рассказывал Гриня, старший из братьев. – Поймали нас в конце улицы Островского. Там, где колодезь и кустики у забора... Мы пошли было к ведру у колодца – водички попить. Из-за кустов встали трое. Мы поначалу – ноль внимания: не в сад же чужой полезли – колодезь-то общий, при дороге. Ну, а эти трое – к нам. Наставили ножики и говорят: «Деньги есть?» А откуда у нас деньги? «Гони деньги!» – кричат. «Нету» – отвечаю. Мы в одних трусах, и так видно, что при нас ничего нет. Они давай нас бить по морде. Потом спрашивают: «Жора, что делать с этими мудаками?» Выходит еще один. Роста небольшого, в шароварах, синей майке. Голова рыжая, морда конопатая. «Я, – говорит, – знаю, что делать». Подошел ближе, вытащил из кармана финак, сует мне в нос и спрашивает: «Вы пионэ-э-эры?» «Какие, – говорю, – такие пионэры?» «Красные ошейники носите?» Мы молчим: когда в школу ходим, конечно, надеваем галстуки. А сейчас – лето: никто в них не ходит. «Молиться умеете?» Мы молчим. «Отче наш знаете?» Опять молчим: откуда нам знать, мы в церковь не ходим. «Значит, вы пионэры... Наверде жидов. Значит, должны нам денежку платить. А кто не платит, тому мы делаем обрезание, как жидам». Тут Жорка подал знак дружкам, и с нас начали сдергивать трусы. Я не выдержал, вырвался, кому-то дал в рожу, и – ходу. Сашка за мной. Еле ноги унесли.

Братья Белооченковы были пацаны правильные – во вранье не замечены. И не хилые: Грине было тринадцать, Сашке, как мне, – двенадцать.

– Жорка – что ли бандеровец? – спросил Володя. Про бандеровцев, которые у пионеров вырезают на спинах кресты, мы слышали от взрослых. Правда, видеть их не приходилось.

– Не знаю. Вроде бы, нет. Но большие пацаны говорят, с ним лучше не связываться.

– Они, взаправду, хотели сделать обрезание?

– Не знаю...

– Верно, попугать хотели?

– Вот нас и попугали.

О Жорке Рыжем мы слышали, но почти ничего не знали. Появился он в нашей магале недавно. Было ему лет пятнадцать. Нигде не учился, не работал. Жил в том месте на улице Островского, о котором рассказывал Гриня, с глухой, молчаливой бабкой в старом доме, расположенном в глубине неогороженного участка, на котором росло несколько ореховых деревьев, одичавших яблонь и вишен. Слышали, что он был связан с какими-то урками, те вроде кого-то где-то раздели. Но то слухи.

Мы с Володей раньше бывали на той улице, однако после грининых рассказов, решили обходить опасные места стороной.

Володя Хлыстун был неходячий. Калека. Надо бы написать – колясочник, но в те времена ни у кого из неходячих колясок не было. Отец его, дядя Ваня, из досок сколотил ящик, приспособил к нему два колеса от велосипеда и большую скобу. Доски покрасил в зеленый цвет – получился возок. Вроде коляски. В этом возке, взявшись за скобу, Володю возили его мама – тетя Настя, иногда Гриня или Сашка. Чаше, конечно, я.

Дядя Ваня шоферил. В будние и выходные дни был в рейсах. Часто по несколько дней. Он работал на трехтонном грузовике «зис» и возил грузы по всей Молдавии. Но случались и недолгие рейсы с коротким плечом, например: загрузка у каменоломен известняка и выгрузка

у ближнего села Стрымба, где работали дорожники. И тогда дядя Ваня приезжал на обед домой, а после обеда брал беспомощного Володю на руки и сажал в кабину. Рядом разрешалось садиться мне. Дядя Ваня заводил мотор, и мы ехали в небольшое путешествие. Сделав несколько рейсов, мы съезжали к стрымбецкому озеру, и дядя Ваня заливал в радиатор, из которого уже валил пар, прохладную воду. Потом вдруг говорил мне:

– Ну-ка, Павлуша, садись на моё место.

Не чуя ног от радости, я садился на место шофера, дядя Ваня рядом.

– Бери руля. Заводи ...

Руль казался громоздким, как колесо телеги. Я судорожно обхватывал это колесо и нажимал на кнопку стартера.

– Газу дай ...

Я с трудом доставал правой босой ногой до педали газа. Жал.

– Не так сильно... Теперь сцепление... Коробку передач передерни... Отпускай сцепление... Газ... Поехали...

Но мотор почему-то тут же глох.

– Давай, снова... Только плавнее...

Я всё повторял, отжимал сцепление плавно, и – вот это, да-а-а-а! – машина ехала. А я управлял ею.

– Молодец, хлопец... теперь руля выворачивай вправо...

Мы ехали несколько минут вдоль озера, пока не показывался шлях.

Так повторялось несколько раз, и дядя Ваня говорил:

– Ты чувствуешь машину. Быть тебе шофером.

Мы с Володей были рады еще потому, что в таких поездках видели новые места и много интересного.

Я с нетерпением ждал очередного приезда дяди Ваниной машины МШ 64–58. Это всегда было событием. Подрулив к дому, Володин отец резко осаживал своего «зиса», глушил мотор. Потом, не спеша, громко хлопая дверкой, соскакивал со ступеньки и весело говорил:

– Здорово, хлопцы! А кто сегодня поедет со мной в Реуцел, мешки с зерном возить?

Мы с Володей были всегда готовы.

Обычно летом я пас Флорику, но в то лето я часто прибалывал, и отец привёз из ближней деревни Пырлица парня лет шестнадцати, который согласился за меня пастушить. Его звали Гица, он был молдаванином, но по-русски говорил вполне прилично. Утром чуть свет он укладывал в торбу еду и уходил с нашей Флорикой на пастбище. Вечером после захода солнца Гица заводил корову в сарай, и его звали за стол – с нами ужинать. После ужина мы с ним укладывались: я на кровати на набитом сеном тюфяке, Гица на софке на таком же тюфяке. Гица начинал рассказывать что-нибудь, чаще всего это были молдавские сказки про находчивого крестьянского парня Иона. Повествование шло то на русском, то на молдавском языке. Запомнилось, как в одной сказке волшебный петух говорил боярину:

Ку-ку-ри-гу, боермарь!

Дас пунгуца ку дой бань.

(Кукареку, боярин!

Подай монетку в два бани.)

Петух в той сказке был какой-то особенный, бессмертный: его убивали, а он всё оживал, неожиданно являлся и снова кричал своё «кукуругу».

Поскольку Гица взял заботу о Флорике на себя, я оказался свободен, и мы с Володей на возке путешествовали по городу и окрестностям. Володя так же, как я, был книголюбом, но без посторонней помощи добраться до городской библиотеки не мог. Обычно раз в неделю мы ездили в библиотеку – это было далеко. Получив книги – выдавали каждому не больше двух названий, – в изнеможении добирались домой, прятались где-нибудь в холодке под акацией и каждый уединялся и погружался в любимый процесс. Читая, мы могли не разговаривать несколько часов.

Какой болезнью болел мой друг, я не знал. Не знали этого и его родители. Года четыре назад их семья приехала в наш город с Украины. Им сказали, что у нас есть хороший еврейский доктор, специалист по ревматизмам. В то время Володя немного ходил, с трудом переставляя, как ходули, высохшие ноги. Показали его знаменитому еврею, но тот не сказал ничего обнадеживающего. Через год Володя уже не ходил. Возили его и в деревню Обрежа к известной знахарке бабе Лиде. Та сказала, что болезнь не отступит, и дальше будет хуже.

Володе шел семнадцатый год, но он весь высох, руки и ноги истончились и стали как у десятилетнего, грудь сузилась и стала бочкообразной, спереди вырос горб, стриженная под ноль голова вытянулась тыквой, а лицо покрылось мелкими морщинами, из-за чего многие знакомые люди принимали его за гнома-старичка. Единственное, что у него росло, и довольно быстро, – половые органы.

Во время купания в Рэуте, где все были голышом: и дети, и взрослые мужики, – я видел петушки у мальчишек и большие причиндалы у мужиков. Но то, что при мне по малой нужде вытаскивал из шаровар мой старший товарищ, поражало воображение. Глядя на мой разинутый от удивления рот – всё же разница в возрасте у нас была приличная, – Володя тихо матерился: ему самому всё это было не в радость.

Мы с Володей изъездили нашу магалу Пэмынтены, потом Тиоссы, Цыганию, центр. Бывая в разных местах и встречаясь со многими людьми, мы часто ловили сочувственные взгляды. Володю жалели, и нас никто никогда не трогал и не обижал.

Во время непогоды мы прятались под большим козырьком крыши их дома, или у нас под орехом. Играли в шашки. Почти всегда мой старший товарищ меня обыгрывал. Когда приходили братья Белооченковы или Комары (на самом деле, Скомороховы), играли в домино.

Но самым любимым занятием оставалось чтение. Мне нравились книжки про путешествия, таинственные острова, капитана Немо, Робинзона Крузо. А у Володи уже был другой интерес: он почитывал французские романы, иногда что-то пересказывал из Мопассана, Гюго. Совсем недавно одолел серию книг «Человеческой комедии» Бальзака.

– Вот это книги! – говорил он. – Всем книгам книги. Таких я еще не читал.

Шло время, летние деньки становились короче. Мы продолжали вольные разъезды по нашей магале, со временем совсем забыв о том, что где-то существует опасность.

Я толкал коляску с Володей. Было жарко.

– Попить бы, – сказал Володя, увидев впереди слева колодец. Подъехали. На деревянной колоде стояло пустое ведро, к которому для крепости была приклепана гнутая железная полоса, а дужка была прикована к цепи, навитой на барабан ворота. Я спустил ведро в деревянный сруб. Вода была близко. Ведро наполнилось, и я поднял его. У нас не было ни кружки, ни стакана. Я поднес ведро к коляске, Володя наклонил свою костистую голову и стал жадно пить из ведра. Кожа на спине его натянулась.

Вдруг чья-то рука резко опустила на его голову и надавила так сильно, что Володя захлебнулся. Чей-то пьяный голос сверху прорычал:

– Пей, сучья морда! Пей! – и тут же отвратительно завоняло сивушным перегаром.

Перегарный голос принадлежал незнакомому парню, который подошел сзади. Его красное – от жары ли, от выпивки ли – лицо было перекошено злобой.

– Пей, вонючий карлик! Пей из нашего колодца! – свирепо приговаривал пьяный незнакомец, пытаясь глубже утопить Володину голову в ведре; было непонятно, почему он так злобится.

Я дёрнул ведро, и Володя, мотнув головой, сбросил пьяную руку, выпрямился и закашлялся. А чуть отдышавшись, он откинул своё хилое бочкообразное туловище назад, набрал в легкие воздуха и, не говоря ни слова, плюнул прямо в морду обидчика. Тот, видимо, не ожидал отпора от убогого калеки и отступил на шаг, вытирая плевков на кирпичной щеке.

В это время подошел еще один. Приземистый крепыш с ярко-рыжей шевелюрой, конопатый. По-видимому, это был сам Жорка. От него тоже несло перегаром.

– Значит, ты плюёшься, гном? – сказал Жорка. – Пьёшь мою воду, пидорас?.. И плюёшься?.. Калека двадцатого века...

Он резким движением схватил скобу и вдруг одним махом перевернул коляску вместе с седоком вверх дном.

Сделав дело, он взял под руку своего друга:

– Пошли, Джон.

Пошатываясь и мерзко сквернословя, они двинулись по дороге. Поравнявшись с кустами, свернули. И вскоре пропали.

Володя, скрючившись, лежал не траве. На него опрокинулось ведро с водой, сверху лежала коляска со слабо вращающимися велосипедными колесами. Он был мокрый, но целый и невредимый. Когда я вернул возок на колеса и с большим трудом посадил в него моего друга – всё же он был нелегкий, – Володя спокойно сказал:

– Не пойму, чего эти пьяные хари к нам привязались. Наверно, колодец стоит в Жоркином дворе?

Долго после этого случая мы строили планы, как отомстить обидчикам. Мы перебрали массу вариантов: позвать старших парней и разгромить осиное гнездо, взять самопалы и самим их расстрелять, обманом завлечь их на нашу территорию и здесь толпой навалиться и... Но всё было забраковано: старших слишком долго надо уговаривать, из самопала можно не только поранить, но и убить, на такое мы бы не решились, заманить противников к нам тоже вряд ли возможно – они же не дураки...

Со временем обида притупилась, всё худое понемногу куда-то отодвинулось. Потом возникли новые печали.

С приближением осени Володина болезнь обострилась, он стал еще более худым, с трудом поднимал руки, не мог даже есть без посторонней помощи. С каждым месяцем ему становилось всё хуже. Однажды в ненастный день в начале зимы, он сказал:

– Мы уезжаем.

– Куда?

– На родину в город Сватово.

На тетрадном листе медленно, сильно кривя буквы непослушной рукой, он написал мне свой новый адрес.

И он, и я – мы понимали, что больше не увидимся.

Вскоре они уехали. Я написал другу два письма, но ответа не получил. Через три месяца я снова написал. Ответ пришел только через полгода от тети Насти: она писала, что Володя умер.

1956

Бельцы

Прошло года четыре. Я подросток, окреп. Привычно работал с железом – играл пудовыми гириями, по утрам и вечерам выполнял сложный, вычитанный в журнале, комплекс упражнений с тяжелыми самодельными гантелями. Больше года ходил к Кирсанову, известному в нашем городе тренеру по боксу, имел и победы, и поражения на ринге. Кирсанов изредка похваливал мои прямые справа. Сверстники посматривали на мою боксерскую стойку с уважением.

Как-то вечером шел с тренировки домой. На стенке старого клуба на улице Шевченко висела афиша, на которой было написано, что будет показан фильм «Смелые люди». У покосившейся клубной двери стояла толпа пацанят. Дяди Илюши, который обычно был и за кино-механика, и за билетера, почему-то не было. Вход в клуб закрывал своей фигурой невысокий парень с рыжей головой. В сумерках я не сразу узнал его. Это был, конечно, Жорка, которого я давно не видел.

Интересно, что ему надо от пацанов, подумал я, а когда подошел ближе, понял, что идет торг из-за денег. Сколько я себя помнил, билеты у дяди Илюши были по 20 копеек. В течение многих послевоенных лет цена сеанса не менялась, и все это знали. Но Жорка, по-видимому, решил спекулировать.

– Дяденька, – канючил один из пацанов, – у меня всего 20 копеек. Только на билет. Больше нет.

– Билет подорожал. Гони 30 копеек, – отвечал Рыжий.

– У меня столько нет.

– Тогда стой, пропусти других.

Но у других было то же. Они понуро стояли и не знали, что делать: лишних копеек, видать, ни у кого не было.

Я подошел ближе.

– Зачем обманываешь пацанов? – спросил я у вымогателя.

– А ты кто такой?

Я вплотную подошел к Жорке. На удивление он оказался почти на голову ниже меня.

– Ты чо? – спросил он, отодвигаясь.

– Не тронь пацанов!

– Чо те надо, фраер?

– Не трррро-о-онь пацанов, падла! – всё больше свирепея, повторил я и, взяв за грудки, чуть приподнял Жорку.

– Ты чо, ты чо, ты чо... – засуетился Рыжий, вырываясь из моих рук, и, косолапо пятясь, быстро юркнул куда-то за угол клуба.

Я вошел внутрь помещения и увидел дядю Илюшу, который возился с аппаратурой. Увидев меня, он замахал руками:

– Подожди, я щас...

– Билеты будете продавать?

– Конечно.

– А почему?

– По 20 копеек.

Как всегда, дядя Илюша был наш человек.

Жорку Рыжего я больше не видел.

Не надо было!

1953

Бельцы

В моём детстве было много всякого оружия. Часто во время игр мы находили на дне поросших бурьяном овражков, которые ещё не так давно были окопами, помятые каски, спутанные пулеметные ленты, много пустых гильз, обоймы с нестреляными патронами и даже винтовки и автоматы. Всё было сильно заржавлено и не годилось для дальнейшего использования, кроме пороха. Но иногда винтовочный ствол после терпеливого вымачивания в керосине удавалось отчистить от ржавчины и использовать для изготовления самопала.

Обычно самопалы делались из медных или стальных трубок. Трубка обрезалась в виде миниатюрного подобия старинной пушки и прикреплялась к небольшому ложу, выпиленному из куска дерева. К маленькому отверстию в трубке на резинке прижималась головка спички. Если в трубку насыпать немного пороха, а потом вставить несколько дробинок и закрыть пыжом, то – всё: самопал к бою готов. Достаточно чиркнуть коробком спичек по головке, спичка загоралась, и её огонь через прорезь проникал в ствол. Порох воспламенялся и происходил выстрел.

Такие самопалы были почти у всех пацанов. Каждому хотелось пострелять. Но стрелять дома или на улице было не принято: наши мамы очень не любили это увлечение и пугались выстрелов, а отцы – у кого они были, – бывшие фронтовики, только посмеивались: «Ничего, пускай...». Был самопал и у меня. Вместе с пацанами мы уходили на пустынный глудянский шлях, где в придорожных широких кюветах устанавливали самодельные мишени и соревновались в стрельбе.

Никто никогда не играл с самопалом, а шутя, не целился в другого. Никто. Никогда. Занимались этими делами скрытно, опасаясь посторонних. Всё ж – оружие огнестрельное. Запрещенное.

Однажды я помогал дедушке Николаю. Ему зачем-то понадобилась старая рессора, и он послал меня за сарай, посмотреть, нет ли там в куче старого железа того, что ему нужно. Рессору я нашел быстро, но нашел ещё кое-что – старый австрийский ствол с надписью на тыльном утолщении «Menlicher». Ствол был в хорошем состоянии, причем даже не заржавленный.

Дедушке я, конечно, ничего не сказал и, таясь от любопытных взглядов, начал из ствола мастерить самопал. Особенно долго пришлось возиться с пропиливанием запального отверстия и вырезанием деревянного ложа с двумя ручками, – чтоб было как у немецкого автомата. Никто из домашних не догадывался, чем я занимаюсь.

Недели через две всё было готово, и я позвал своего приятеля Лёньку Бомбу. С Ленькой мы учились в одном классе, хотя он был на три года старше меня. Бомбой его звали, наверное, из-за странного устройства большой стриженной под бокс конопатой головы, которая немного кривовато была приклёпана прямо к туловищу, как головка артиллерийского снаряда к гильзе. Когда он разговаривал, то разворачивался к собеседнику всем своим голово-туловищным корпусом.

– Ну-ка посмотри, – сказал я, показывая своё произведение Лёньке. – Оцени.

– Вот это – да, – восхищенно сказал Лёнька, рассматривая самопал. – Вот это пушка! На стволе есть даже мушка и прицельная планка. А порох есть?

– Есть, навалом.

– А у меня есть утиная дробь и картечь.

Сговорились: завтра за городом провести пробные стрельбы.

На следующий день после школы Бомба пришел ко мне с двумя спичечными коробками, в которых была дробь и картечь. Я уложил в мешок свой «менлихер» и кусок доски – мишень, в карманы положил коробки спичек и пороха. Мы пошли.

Дорога предполагалась неблизкая, потому что надо было найти место для стрельбы: чтобы оно было и безлюдное, и безопасное. Мы долго бродили по рышканскому шляху, но так ничего подходящего не нашли. Наконец, изрядно подустав, набрали на тропинку между частными полями, которая упиралась в холм. Место показалось безопасным. Правда, у холма какая-то тётка окучивала картошку, но до неё было больше полукилометра. Вряд ли наши выстрелы беспокоят женщину, подумал я. И ошибся.

Мы приготовились. Ленька установил доску-мишень и отсчитал двадцать шагов. Я засыпал в ствол немного пороха, затолкал шомполом бумажный пыж, потом пять дробинок, присел на одно колено, прицелился, чиркнул коробком по запальной спичке и – выстрелил. Из ствола вырвался огромный сноп пламени и над полями прокатился такой грохот, будто жажнули из царь-пушки. Тётка на холме приостановила работу и издалека погрозила нам поднятой тяпкой. Ленька подбежал к мишени и радостно прокричал:

– Е-е-е-есть! Две дробины попали!

Тётка продолжила своё тяпание. Я перезарядил самопал. Теперь вместо дроби я вложил две картечины и передал ствол Бомбе. Он долго целился, тоже с колена, наконец, выстрелил. Снова раздался невероятный грохот; я кинулся к мишени и едва успел разглядеть застрявшую в доске картечину, как сверху до нас донесся крик:

– Эй вы, бандиты!

Кричала тетка с тяпкой. Однако откуда ни возьмись, из-за холма выскочили ещё две женщины. С устрашающими возгласами они втроём бросились с тяпками вниз, или, может быть, сделали вид, что бросились. На нас с Ленькой.

– Бандиты! Бандеровцы! – кричали женщины, потрясая тяпками – Счас мы вам покажем!

Что было делать? Мы с Ленькой побросали всё своё огнестрельное барахло в мешок и – ходу!

Через несколько мгновений добежали до лесополосы. Ну а там среди деревьев – ищи-свищи. Женщины, видать, тоже одумались. Остановились.

– Да-а-а, – сказал Бомба, переводя дух. – Много шухера наделал наш «менлихер».

Мы продолжили путь домой, уже не спеша.

Несмотря на некоторые неудачные моменты, испытание нового оружия можно было считать успешным.

– А как точно бьёт! – не унимался мой приятель. – Главное, кучно.

– Да, – соглашался я. А про себя подумал: «Что мне теперь делать с этим самопалом? Это ж не просто пукалка».

В течение следующей недели Ленька предлагал побродить с самопалом по полям, поохотиться подальше от людей. Я и не отказывался, и не соглашался. Тянул.

Наступил воскресный день. Мои родные ушли в церковь, и я решил. Положил в мешок ствол, по карманам рассовал припасы и двинулся в направлении глудянского шляха, где было много лесополос. Надо, задумал я, попробовать пострелять по живым мишеням: может быть, по воронам, лесным голубям, а, может, по зайцу или лисе. Если повезет.

Дошел до лесополосы и пошел вдоль неё по дороге. Деревья, освещенные радостным весенним солнцем, благоухали молодой зеленой силой: здесь росли и крепкие дубки, и щетиновые сосенки, и мелколистный акация, и пирамидальные тополя, и неприметные карагачи, и благородные грецкие орехи, и одичавшие вишни, и яблони, и абрикосовые деревья. Это была

мичуринская лесополоса, одна из многих, посаженных всего шесть-семь лет назад вдоль и поперек по всей безлесной Бессарабии.

По полю с пробившимися всходами то ли свеклы, то ли турнепса, перепархивали с места на место три больших вороны, поминутно горланя своё «Ка-а-а-р-р-р! Ка-а-а-р-р-р!»

Вот я вас сейчас, подумал я, доставая из мешка своё оружие. Но как только начал заряжать самопал, вороны подхватились и дружно отлетели на безопасное расстояние. Я закинул ствол на плечо – птицы опять подпустили меня близко, но как только я брал самопал наизготовку, они тут же быстренько улетали подальше. Так повторялось ещё раза два, и стало понятно: вороны знают, что я могу стрелять, и точно знают, когда надо меня опасаться. Они хитры и на расстояние выстрела к себе не подпустят.

Я вошел в лесополосу. Было прохладно и свежо. Здесь было полно живности: воробы шумными стайками суетились то в одном, то в другом месте. На меня они не обращали никакого внимания, впрочем, как и я на них. Но вдруг над моей головой послышалось хлопанье крыльев и что-то яркое и большое быстро пролетело вперед. Бегом, не прячась, я проскочил мимо густого кустарника и увидел на невысокой пушистой сосёнке большую птицу, которая сидела на верхней ветке. У неё была маленькая головка цвета бледного яичного желтка с высоким хохолком и такая же грудка, а крылья и хвост переливались цветами радуги, от буровато-красного до индиго. Ничего похожего я никогда не видел – птица райская, да и только. Она почему-то не сидела спокойно, а постоянно теребила лапками ветку, вздергивала крылья и издавала довольно неприятные звуки. Я подошел к ней шагов на двадцать, и она, сильно хлопая многоцветными крыльями, взлетела и полетела дальше с теми же странными звуками. Я опять подходил к ней, и она опять улетала. О чем она кричала? Крики были резкие, отрывистые, скрипучие, совсем не соответствующие её красоте.

Нужно было остановиться и оставить птицу в покое. Но я никак не мог понять, что за существо явилось мне. Да и азарт какой-то проснулся. Что ж она не улетает насовсем? Подальше? Вон, вороны улетели и не видать их. Дразнится она, что ли?

И в один из моментов, не совсем понимая, что и зачем, следуя какому-то невнятному посылу – сейчас я ей всыплю! – вскинул свой самопал.

И – выстрелил.

Тут же что-то ударило: не надо было!

Но дело сделано.

Птица камнем упала на вспаханную землю рядом с молодым дубком, и её тревожные крики тут же прекратились.

Я подбежал и остановился, потрясенный увиденным. Райская птица неподвижно лежала на спине, широко раскинув свои яркие, роскошные крылья. На нежной её грудке зависла капелька вишневой крови. Она была мёртвая.

Я еще не понимал, что произошло...

Казалось, еще можно что-то сделать, что-то вернуть. Но – что? Как? Как переделать мертвое в живое?..

В растерянности встал я на колени перед созданием, которое явилось с небес. Большие янтарные глаза живо смотрели на меня без всякого укора и сожаления, будто говоря: «Вот такая я красивая!»

Как же так?.. Я же не знал... Я же совсем не то хотел...

Но тут кто-то сильно сжал мою грудь железными клещами... Трепыхнулось и замерло сердце... Спёрлось дыхание... И вдруг слёзы сами по себе хлынули откуда-то изнутри.

Руками, потому что земля в междурядье была мягкой, я вырыл ямку и уложил в неё убиенное мною существо. Птица оказалась величиной чуть больше голубя, но крылья и хвост были непомерно большие.

Никому я не рассказывал об этом своем отроческом грехе. Иногда кажется, что ничего такого не было.

Но это всё же было. И райская птица тоже была.

Лёнька Бомба еще несколько раз предлагал пойти пострелять. Но я отмалчивался. Предлагал он также купить мой самопал за большие деньги. Я молчал.

Потому что сразу же после «охоты» я утопил свой самопал в выгребной яме.

И больше никогда ни в кого не стрелял.

Сянька

1953

Бельцы

Возрастом он был немного старше меня – лет четырнадцати. Почти парубок. И роста довольно высокого, но казался небольшим из-за того, может быть, что ходил, втянув в туловище стриженую наголо черную голову. Был нелюдим, ни с кем из нашей магалы не общался и, хотя учился в обычной школе и даже вроде перешел в шестой класс, а по возрасту должен был уже заканчивать семилетку, считался порченным. Если с ним кто-то заговаривал, он отвечал односложно, исподлобья недоверчиво глядя на собеседника и шмыгая носом. Сколько помню, из его правой ноздри всегда свисала длинная капля желтовато-зеленой жидкости. Поэтому наша пэмынтенская шпана звала его *Шмаркатый*. Сянька Шмаркатый.

Когда вечером, возвращаясь с пастбища, он понуро брел за своей костлявой бурой коровой, зад которой как коростой был покрыт засохшими еще с зимы испражнениями, малые пацанята с нашей улицы бежали за ним вприпрыжку и оскорбительно кричали:

Сянька дурак,
Курит табак,
У соседей ворует,
Дома не ночует.

То, о чем кричали, мало походило на правду: Сянька, в отличие от большинства пацанов, был единственным не курящим табак и не лазившим в соседские сады. Да и дома он ночевал, как положено, со своими родителями и братьями. То, что был дурак, тоже подтверждалось не всегда. Но он был единственной доступной мишенью, кого почему-то обязательно хотелось дразнить, обзывать, унижать. Причем все понимали, что делать это можно безнаказанно. Это был какой-то общий негласный сговор, которого придерживалась улица. Многие из тех, кто был постарше, понимали, что, наверное, Шмаркатый не заслуживал, чтобы с ним так поступали. Но так повелось с момента поселения их семьи на нашей улице, и потом уже ничего не менялось.

Сяньку недолюбливали еще, может быть, потому, что в отличие от остальных наших пацанов, тощих и вечно голодных, он был круглолиц и довольно питан.

Его оскорбляли, не опасаясь за последствия и не думая, что он может дать сдачи. И даже когда он, щерясь по-волчьи и злобно матерясь, нагибался к земле и хватал, что попадало – будь то камень или ком земли – и бросал в пацанов, те переходили в контрнаступление и отвечали ему дружными залпами.

Он еще больше втягивал свою цилиндрическую, приплюснутую сверху голову в плечи и, ухватив корову за хвост, вприпрыжку бежал к своему дому, с позором покидая поле боя.

Вслед ему неслоь:

Сянька – С-с-сянька!

Ссянька под себянька.

В финале, загнав свою засратую корову во двор, Сянька люто грозил всем кулаком из-за высокого забора.

Их семья была для всех соседей загадкой. Прибыли они на Пэмынтены откуда-то из-под Сорок, главного цыганского селения. Престарелые отец и мать, двое старших сыновей, ребята

здоровые и крепкие, и Сянька, младший, – все были смуглокожими, желтоглазыми с жесткими, как конский хвост, черными волосами. Но они не были цыганами. Говор у них был украинский, а фамилия – Царану – типично молдавская.

Семья Царану, в отличие от большинства жителей нашей улицы Маяковского, построивших свои жилища в первые послевоенные годы, получила свой земельный участок недавно, года четыре назад. И первым делом они построили не дом, а высокий глухой забор. Видать, приучены были жить, отгородясь. А, может быть, – хоронясь и опасаясь чего-то? Потом они быстро, за одну весну и лето, поставила добротный дом из самана и покрыли его, в отличие от нас, голодранцев, не дранкой или толью, а настоящим листовым шифером, что в те времена было большой редкостью. Значит, были у семьи Царану и денежки. Было, однако, и трудолюбие – оно было заметно по достатку в их дворе.

Так, обособясь от всех, они и жили, почти не общаясь с магалой. И мы не знали, что это за люди, чем они дышат. Известно было, что жили они скромно, ни с кем не скандалили; старики возились то по дому, то с коровой, то с поросятами, то в огороде; старшие сыновья шоферили в автоколонне. Никто не слышал на их подворье ругани или худых слов. По субботним вечерам родители и сыновья чинно, по выходному принаряженные отправлялись куда-то пешком, оставив у крыльца здорового лохматого пса, бегающего по проволоке. Поздно вечером все так же чинно возвращались. Куда они ходили, никто не знал. Поговаривали, что на собрание какой-то секты. То ли пятидесятников, то ли трясун. Впрочем, всяких религиозных общин и сект в наших местах всегда было множество.

Соседи долго судачили и, не придя к определенным выводам, решили, что члены загадочного семейства являются «сектантами». Царане-сектанты. Прозвище прилепилось.

Сверстники Павлика – дети войны – хлебнувшие и безотцовщину, и нищету, и голод, привыкшие держаться кучно, с недоверием относились к таким нелюдимым и странным типам, как Сянька. Считалось, что он никчемная личность, ни на что путное не способная.

Так считал и Павлик до поры до времени. Но он ошибался.

* * *

Мы были обычными жителями провинциального городка. Отец работал на маслозаводе вальцовщиком, мать и дедушка с бабушкой обихаживали домашнее хозяйство, я помогал им. У нашей семьи помимо положенного приусадебного участка, на котором мы еще в 46-м году насадили много фруктовых деревьев, было за городом и свое поле: около трех гектаров пашни. Места были хорошие, рядом с полями селекционной станции.

После урожайного 48-го года жители нашей магалы, впервые после войны и голода почувствовали какой-то достаток. Уродилась картошка (тогда еще не знали, что такое колорадский жук), кукуруза, фасоль, свекла и прочая съедобная мелочь, деревья ломались от фруктов: яблок, груш, слив, абрикосов. Но главное, был собран невиданный урожай пшеницы. По субботам над Пэмынтенами стоял плотный пьянящий дух печеного хлеба: в каждом доме дымились печи, в которых хозяйки пекли хлеб. Белый пшеничный хлеб в домашних печах получался удивительно пышным. Никогда в жизни Павлик не ел столько хлеба, вкуснее которого, казалось, нет ничего на свете.

Загородные участки земли были у многих наших соседей, но почему-то не у всех.

Ранней весной мы с отцом на каруце отправлялись в поле. Отец впрягал нашу кобылку в плуг и, наскоро объяснив мне, что делать, сам становился к плугу. Взяв лошадку за узду, я вел её вдоль межи, потом вдоль борозды, а отец, налегая на ручки плуга, вспарывал пласты

тяжелого чернозема. Кобыла была совсем молоденькая, слабосильная, часто останавливалась. Отец злился, ругался: «Каличь дохлая!». И так с остановками и руганью (мама потом объясняла мне, что ругань и невыдержанность отца – это всё от его контузий на фронте) мы в течение трёх весенних дней, с восхода до захода солнца, вспахивали всё поле. Потом гектара два с небольшим заборанивали, а небольшой клин, перелог, оставляли под черные пары и пастбище. Сев кукурузы, пшеницы, подсолнечника проходил уже без меня: как все школьники, начиная с четвертого класса, каждой весной я сдавал переводные экзамены в следующий класс.

В летние каникулы моей обязанностью было пасти Флорику. С весны после отёла она хорошо доилась и давала каждый день по ведру молока. Провожая в поле нас с Флорикой, мать, как обычно, клала мне в торбу бутылку кипяченого молока и скибу мамалыги или краюху хлеба, иногда еще кусочек брынзы.

До нашего поля было километра три. Мы выходили на глodianский шлях и, не торопясь, попасом, двигались мимо садов, виноградников и опытных делян селекционной станции. Потом поворачивали к широкой лесополосе. Пройдя с километр вдоль лесополосы, мы выходили на имаш, пастбище общего пользования, – широкую полосу необработанной целины, тянувшейся долиной между холмами на много километров, и уже с имаша заходили на наш участок перелога. Я разматывал длинную веревку и привязывал один её конец к рогам коровы, а другой к стальному штырю, который вбивал в землю. Теперь моя Флорика паслась только там, где я хотел. Она была очень послушной и никогда не сопротивлялась.

А у меня начиналось самое интересное: я доставал завернутую в газету книжку Даниеля Дефо «Робинзон Крузо» и уже через несколько мгновений оказывался далеко-далеко – на необитаемом острове, затерянном в далеком океане. Вместе с Робинзоном я спасался от опасностей, строил укрытие от дождя и холода, искал съедобные плоды, ловил диких коз, обустроивал хижину. Это было время, когда я ступал на земли островов и материков, описанных великими фантазерами и романтиками Жюлем Верном, Фенимором Купером, Марком Твенном, Джеком Лондоном, Аркадием Гайдаром, Владимиром Обручевым, Иваном Ефремовым. Оказавшись странником в неведомых мирах, я не хотел, точнее, уже не мог, расстаться с этими мирами. Я стал читателем детской и взрослой городских библиотек, записался даже в библиотеки Дома учителя и Дома офицеров. Достать интересную книгу было не так-то просто, но я доставал. Читая книги, я не просто фантазировал, а знал, что, помимо окружающего, обычного скучного мира, есть полный опасностей, интересный мир, населенный сильными и добрыми людьми, и стоит немного постараться, и обычный мир сможет стать таким же интересным и богатым.

В то время я еще не догадывался, что на самом деле реальный мир намного богаче, чем книжный: всё зависит от того, как на него смотреть и кто ты, смотрящий.

Отец, увидев как-то меня с книжкой, стал подсмеиваться надо мной: «Какой толк в книжках! Там одна брехня». Мать молчала, но однажды я слышал, как она сказала отцу: «А может наш Павлик через книжки выучится на учителя? Или станет пресвитером в нашей церкви?» Вот, о чем, оказывается, тайно мечтала моя неграмотная мама. Но отец стоял на своем: «Нет, то, что он читает, брехня».

Впрочем, много лет спустя, когда он приезжал ко мне в университет и видел, сколько книг нужно перелопатить, чтобы подготовиться к очередному зачету, он свою позицию изменил. Но тогда, в детстве, чтобы не отравлять себе жизнь, я просто прятался от отца и выбирал такие места, где он не мог видеть меня с книгой.

* * *

Здесь, в поле, не нужно было прятаться, Никто за мной не смотрел.

Близилось время обеда. Тень, отбрасываемая моей тощей фигурой, стала примерно вполтину меньше моего роста, – это означало, что солнце находится в наивысшей точке. Пора, пора...

– Пойдем на водопой, – сказал я своей умной, всё понимающей корове, освобождая её от веревки.

Флорика дружелюбно посмотрела на меня каштановыми глазами и резко мотнула головой – возможно, так она выражала согласие. И мы, палимые июльским солнцем, направились к живительному оазису, небольшому ставку, зеркало которого поблескивало в дальнем конце долины. От нашего поля до него было чуть больше километра.

Ставок был старый, сильно заиленный, наполовину заросший камышом. Коровы, приходя на водопой, заходили на мелководье почти до середины пруда и, вытянув свои рогатые морды, жадно пили нечистую воду. Но мелко было не везде. У гребли были две «бульбоны», где купались пацаны и мужики, – там было с головкой.

Мы с Флорикой, как оказалось, немного припозднились. У нашего става было настоящее коровье нашествие. Южный берег пруда был занят большим, голов в сорок, неожиданно нагрянувшим стадом коров. После водопоя большая часть животных возлежала на потрескавшейся от жары земле и пережёвывала свою жвачку. Остальные жевали стоя, периодически отмахиваясь от оводов.

Стадо было не наше, не городское, по-видимому, из ближнего села. У них, рядом с селом, было свое большое озеро, но вакарь (коровий пастух) почему-то иногда пригонял коров сюда.

Сколько я не смотрел, ни вакаря, ни его подпасков поблизости не было. Всё выглядело странно. И непривычно безлюдно.

Флорика зашла в ставок по самое брюхо и, вытянув морду, начала шумно засасывать мутную воду и толчками перекачивать её в своё огромное бочкообразное брюхо. Этот процесс с перерывами продолжался минут пять. Наконец, чавкая копытами, Флорика выбралась на болотистый берег, потом нашла сухое место, осторожно, словно богомолка перед молитвой, подогнула колени передних ног и вдруг рухнула на землю, испустив мощный утробный вздох. Послеобеденный коровий кайф начался.

Я тоже пошел было к гребле, чтобы искупнуться, и начал было стаскивать с себя ситцевые трусы – всё, что на мне было из одежды. Как вдруг откуда-то с дальнего конца става донесся крик:

– Мэй, бэете! (Эй, пацан!) – я оглянулся. – Иди сюда! – Зов с молдавским акцентом исходил со стороны камышей.

Кто-то оттуда махал мне рукой. Пройдя немного, я увидел, что это был старый вакарь из села Стрымба; раньше я видел его только издали.

Вакарь сидел на срезанной вязанке тростника, а рядом, по колени в воде находились трое дюжих парней, видать, тоже селяне. Неподалеку на сухом берегу, высунув от жары языки, лежали два огромных волкодава. Но самое удивительное зрелище – это еще двое голых пацанов – один побольше, другой совсем маленький и дохлый, – испачканных грязью, которые спиными, со связанными сзади руками, были привязаны друг к другу. Время от времени сельские парни брали белую мякоть разбитого, еще неспелого арбуза и смазывали ими животы и плечи голых пацанов. Тут же на сладкое налетала туча оводов и мух, которые вгрызались в кожу,

оставляя после себя кровоточащие ранки. Можно было представить, какую нестерпимую боль причиняли укусы насекомых. Пацаны только хрипели, плакать, видно, уже не могли, и, обливаясь потом, слезами, соплями и кровью, тихо стонали. Лица голых пацанов были настолько изуродованы страданиями, которые, наверное, длились не первый час, что я не сразу узнал в них старых знакомых. Каково же было потрясение, когда в том, кто покрупнее, я признал своего соседа Сяньку, а в маленьком – пацаненка с соседней улицы Ваську, которого звали Васыль Трындысьль.

Впервые в жизни я был свидетелем необычной экзекуции. То, что это была экзекуция, я понял сразу – наказание за какой-то поступок...

Старый вакарь недоверчиво рассматривал меня колючими черными глазами из-под полей своей засаленной паларии (шляпы). Несмотря на жару, он был в одежде – в старой красноармейской гимнастерке, давно утратившей первоначальный цвет, замызганных брюках-галифе; на поясе у него висел большой складной нож в брезентовом чехле; нож был соединен с длинной, до колена, самодельной алюминиевой цепкой. Грязные мозолистые ноги его были босыми.

– А куй ешь? (Чей ты?) – спросил он по-молдавски. Обычно так у нас обращаются к незнакомому человеку.

– Я сын Василия Крёстного – ответил я так, как меня учили. Это звучало так же солидно, как если бы я сказал, что я сын генерала от инфантерии Такого-то. Такова была формула общения.

– Ну штиу. (Не знаю.) – Ещё бы: откуда он, житель села мог знать моего городского отца. – А как зовут тебя?

– Павел Крёстный. – Я объяснил, что мой отец держит здесь свое поле.

– Бун. (Хорошо.) – Вакарь удовлетворенно почесал свой заросший щетиной кадык. Вероятно, человек, который не только имеет, а именно «держит» свое поле, вызывал у него уважение.

Что же здесь произошло? Оказалось, часа два назад Сянька с Васылем залезли на частную бахчу, которую сторожили сельские парни. Арбузы только начали набирать сок, и до настоящей спелости было далеко, но городским пацанам, видно, очень не терпелось их попробовать. По-пластунски они долго ползали по иссохшей растрескавшейся земле и, наконец, нашли два небольших арбузика. Тут-то их и накрыли сторожа.

Не думаю, что инициатива похода на бахчу принадлежала Шмаркату, – он в таких делах раньше не был замечен, хотя залезть во владения селекционной станции или колхозный – но только не в частный! – сад, виноградник или даже на бахчу среди нас, пэмынтенских пацанов, не считалось грехом. Скорее, подбил его на это Васыль.

Частные владения обходили стороной: все знали, что частникам лучше в руки не попадаться. Уж очень суровы они были на расправу.

Васыль был ровесник Сяньки, но из-за постоянного недоедания настолько худой и тщедушный, что его принимали за девяти-десятилетнего. Как они жили, чем кормились с вечно пьяной мамашей, никто не знал. Васыль был голодный всегда, но при этом сохранял веселый нрав и готовность к участию в любых проделках. Он сильно шепелявил и говорил быстро, проглатывая звуки и слова – «трындел», – так что не всякий мог его понять. Но в любой момент Васыль готов был сплясать по-цыгански, хлопая себя ладошками по тощему животу и грязным пяткам, и исполнить матерные частушки. Знал он и множество стишков «про это» и мог часами цитировать «Луку Мудишева», вызывая восторг подрастающих онанистов. Чаще всего он исполнял частушки про сербиянку, «красотку с красивой поткой»:

У колодца вода льётся,

Сербиянка моется ...

Дальше шло описание интимных частей тела сербиянки в таких выражениях, которые детям в школе обычно не преподают.

— Ты их знаешь? – спросил меня вакарь.

Не зная, что ответить, я молчал.

– Ты знаешь, кто эти бандиты? – начиная сердиться, повторил вопрос старик.

Правило «не навреди» было известно каждому пацану: сам погибай, а товарища не предавай.

Однако врать, что я «бандитов» не знаю и отгораживаться от них, как от безродных, не только не имело смысла, но могло ухудшить их положение. А молдаване очень уважительны к родственным связям. Поэтому я сказал:

– Они не бандиты. Мы с ними живем рядом.

– У них есть родители?

– Да, – сказал я. Потом добавил:

– У них хорошие родители. – Хотя это было не совсем так.

Вакарь достал из кармана галифе кисет, свернул сигарку и, закуривая, заметил:

– Воровать нехорошо.

Раньше Павлик слышал, что селяне иногда наказывают ворюшек тем, что намазывают их голые тела соком арбуза и привязывают на солнцепеке к дереву или кусту на несколько часов. Рассказывали, что жертвы укусов мух, оводов и комаров испытывали невероятные страдания и после таких пыток долго болели. Сотни ранок от насекомых долго не заживали.

«Бандиты» продолжали надрывно стонать и пытались ворочаться и дергаться, чтобы как-то согнать насекомых. Но те отлетали, а потом роями снова устремлялись на голые тела.

– Отпустите их, они больше не будут воровать, – с мольбой обратился я к селянам. Смотреть на мучения пацанов, пусть даже и недружественных мне, было невыносимо ...

Старый вакарь сидел молча, отрешенно закрыв глаза. Казалось, он не слышит ни меня, ни стоны страждущих. Послеполуденное солнце выжаривало мозги и замедляло ход времени. Время не шло, а ползло. И ничего не менялось.

Наконец, вакарь подал знак охранникам бахчи. Те стали развязывать пленников.

Сянька с Васылем, освобожденные от уз, голые и грязные, шатаясь как пьяные, вышли из камышей. Держась друг за друга и, продолжая стонать, даже не стонать, а тихо по-собачьи поскуливать, они проковыляли вдоль берега. Потом вошли в пруд и долго сидели в воде, не двигаясь.

– Передай их родителям, – сказал вакарь, – если их поймут в следующий раз, то отрежут им яйца.

Он встал. Роста оказался небольшого, с меня. Ни на кого не глядя, он резко взмахнул своим арапником, издав громкий звук выстрела.

Волкодавы встали и встряхнулись. Стаду была подана команда на подъем.

* * *

Несколько дней я не видел ни Сяньку, ни Васыля. Никому, тем более их родителям, я, конечно, не рассказывал о том, что с ними приключилось.

Каково же было удивление, когда вскоре я узнал, что Сянька с Васyleм почему-то считают меня стукачом и своим недругом. Они стали говорить, что я был заодно со стрымбецким вакарём и, стало быть, причастен к их телесному наказанию.

Верно, я был свидетелем драматических событий, которые с ними произошли. Было очевидно, что они были пострадавшими и за воровство наказаны, как положено, по местным понятиям, но, вероятно, кому-то было не ясно, почему вместе с ними не пострадал и я, а остался в стороне. Именно то обстоятельство – что они были биты, а Фенимор (такое у меня была прозвище) нет, – противопоставило нас. Получалось, что пацаны страдали во время ужасных пыток, а Фенимор любезничал с их палачами. Моя вина, по-видимому, заключалась в том, что *я был не с ними. Был рядом, но не заодно!*

Короче говоря, в результате какого-то непостижимого для меня способа осмысления произошедших событий я вдруг оказался врагом двух этих страдальцев.

– У-у-у, Фенимог проклятый! – с руганью встретил меня Васыль Трындысьль, когда в очередной полдень я пришел с Флорикой на водопой.

На кликуху «Фенимор» я практически сам напросился. Все знали, что я ношу в торбе книжки, и меня иногда просили что-нибудь почитать вслух. Но вместо этого я просто рассказывал о приключениях героев Фенимора Купера. Через какое-то время пацаны опять приставали: «Расскажи про своего Фенимора», и я продолжал рассказ. Но за глаза меня самого стали звать «Фенимором».

Что случилось, подумал я в тревоге? Даже Васыль, глиста коровья, морду воротит.

Был необычно прохладный для лета день. У става опять оказалось много животных и людей. На берегу и в воде пребывало десятка три коров и столько же коз.

Никто на Пэмынтенах коз не держал. Как выяснилось, прожорливые животные были из магалы Берестечко; там они выгрызли все окрестные луга и в поисках корма прибыли на наш имаш.

У гребли горел костерок, у которого, жмурясь от кизякового дыма, сидела стайка подростков, знакомых – Адаська Поп, Жорка Баранец, Иван Мындреску, Лёня Драган, Сянька Шмаркатый – и несколько незнакомых. А хозяйничал не кто иной – Васька Кривой, которого я в последнее время видел редко. За последние шесть-семь лет внешне он почти не изменился, только резче обозначились морщины лунообразного лица да жидкие кацапские усы и боро денка проросли чуть гуще. Конечно, это он, козий пастух, привел свое стадо к нам.

Кривой рассказывал пацанам очередную байку, но, увидев меня, прервался, изображая повышенную любезность:

– А вот и наш старый друг Паша!.. Садись с нами, Паша... Ну-ка, пацаны, подвиньтесь, уступите место нашему грамотею...

Я сел к костру рядом с Сянькой. Он что-то невнятное буркнул и отодвинулся от меня. Кривой заметил это:

– Ты что, Сяня? – Ласковый голос Васьки выражал удивление.

– Не буду я... с Фенимором...

– А чего так?

Сянька втянул голову в плечи и молчал.

– Что, Сяня? Говорят Паша обидел тебя? – по-родному, с пониманием поинтересовался Васька.

Сянька втянул в нос изумрудную соплю и отвернулся, продолжая напряженно молчать.

– Вишь, обижаются на тебя пацаны, Паша... Обижаются, – укоризненно по-отцовски попенял мне Кривой.

– Говорят, Паша, что это ты стуканул молдаванам, что пацаны пойдут на бахчу.
– Это неправда! Шмаркатый с Васылем сами полезли, и их поймали. Меня не было с ними! – переходя на крик, пытался я оправдаться.
– Да ты не кричи... Не был так не был... Разберемся. – Голос Кривого звучал по-семейному миролюбиво. Он по-прежнему изображал заботливого родителя, но делал вид, что знает нечто такое, что другим не дано. – Разберемся!.. А стукачам наш Сяня ещё покажет... Правда, Сяня?.. – Похоже, что Кривой науськивал Шмаркатого на меня.

Артист! Интересно, когда-либо в своей хитро-мудрой жизни случалось Ваське Кривому бывать искренним?

Обеденный перекур с дремотой продолжался.

Васька Кривой завернул свою знаменитую козью ножку, и, крепко затянувшись махорочным дымом, вдруг предложил:

– Давайте попросим нашего Васятку сплясать нам вприсядку.

Васыль сидел в стороне понурый. Плясать он не мог: после попыток в камышах раны еще не зажили.

– Ну, Трындысьль, изобрази что-нибудь.

Видя, что деваться некуда, Васыль еще немного для порядка пожеманился, но, как прирожденный артист, конечно, не мог удержаться от соблазна покрасоваться перед публикой. И в очередной раз отчебучил-таки серию картинок с сербиянкой.

Народ стонал от избытка сексуальных образов.

Под конец артист пропел скороговоркой:

Мне говорили все в округе,
Что я слаба на передок,
Ругала мать, отец, подруги,
Судили все, кто только мог.
Старухи зло шипели в спину:
«Смотри, намылилась опять!
Ах, девка! Ягода-малина!
Всем хороша, да только блядь!!

Половозреющая публика рыдала от восторга и исходила слюной.

Когда овации улеглись, Кривой выступил с новой инициативой:

– Давайте, хлопцы, сыграем в игру «баба-орба». – Надо отдать должное, потенциал дьявольской изобретательности у Васьки никогда не иссякал.

Поскольку никто не знал, что это за игра, Кривой стал объяснять:

– Сначала выбирают водилу. Ему завязывают глаза, чтобы ничего не видел, ставят в центр круга, крутят, чтоб закружилась голова, и дают в руки палку. Все отбегают, но не далеко и дружно кричат: «Баба-орба, баба-орба», что значит слепая баба. Водила, он же «баба-орба», должен бросить палку. В кого попадет, тот становится «бабой-орба». Потом всё как в сказке: чем дальше, тем интереснее.

Всё было понятно. Стали играть.

Раз за разом в круг становились то Иван, то Адаська, то Лёнька Драган. Им завязывали глаза старым шарфом и несколько раз заставляли крутиться вокруг собственной оси. После этого все отбежали и начинали кричать «баба-орба», и каждый из водил пытался бросить палку в тех, кто кричал. Но, оказывается, сделать это было не так-то просто из-за головокращения.

Например, Иван дважды брал в руки палку, но тут же, спотыкаясь, падал, как пьяный, и только в третий раз у него получилось: попал в Адаську.

Игра была простой и казалась довольно примитивной. Но вскоре выяснилось, что в ней была одна ма-а-а-ленькая хитрость... Точнее, *подлость... Которая...*

Никто не обратил внимание на то, что Васька Кривой отошел в сторонку, снял штаны и справил нужду по-большому. Ну, бывает, подумалось, приспичило человеку...

Кривой так же незаметно вернулся в круг с палкой в руках. В это время водилой был Сянька Шмаркатый. Всё шло как обычно, Сянька с завязанными глазами, шатаясь, дважды пытался бросить палку и дважды, шатаясь, падал.

А когда в третий раз ему завязали глаза и начали снова крутить, ко мне подковылял Васька, и, по-свойски подмигнув как старому приятелю, быстро сунул мне палку, наказав:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.